

# Джон Голсуорси САГА О ФОРСАЙТАХ КОНЕЦ ГЛАВЫ. КНИГА 1 ДЕВУШКА ЖДЕТ

Перевод *Е. Голышевой* и *Б. Изакова* под  
редакцией *Э. Кабалевской*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Епископ Портсминстерский угасал с каждой минутой; к умирающему вызвали всех четырех его племянников и обеих племянниц, одну из них — с мужем. Думали, что он не протянет до утра.

Тот, кого в шестидесятых годах приятели в Харроу<sup>1</sup> и Кембридже звали «Франтиком» Черрелом (как произносилась его фамилия Чаруэл), кто был потом преподобным Касбертом Черрелом в двух лондонских приходах, каноником Черрелом на вершине своей ораторской славы, а последние восемнадцать лет Касбертом Портсминстерским, — так и остался холостяком. Он прожил восемьдесят

---

<sup>1</sup> Закрытая мужская школа.

два года и пятьдесят пять из них — приняв духовный сан довольно поздно — представлял господа бога в самых разных уголках земли. Именно это, да еще умение с двадцатилетнего возраста подавлять свои природные склонности, придало его лицу сдержанное достоинство, которого не нарушила даже близость смерти. Он относился к ней с иронией — судя по чуть поднятой брови и по словам, еле слышно сказанным сиделке:

— Завтра вы наконец выпитесь как следует. Я буду точен — ведь облачения мне надевать не придется.

Он умел носить облачение лучше всех в епархии, выделялся лицом и осанкой, сохранив до конца привычки заправского денди, которыми и заслужил свою кличку «Франтика»... а теперь он лежал не шевелясь, с аккуратно причесанными седыми волосами и слегка пожелтевшим лицом. Он так долго был епископом, что никто уже не мог сказать наверняка, как он относится к смерти, да, пожалуй, и ко всему остальному, кроме, быть может, требника, малейшие изменения в котором он решительно отвергал. Он и от природы был сдержан, а жизнь со всем ее церемониалом и условностями и вовсе отучила его проявлять свои чувства, — так вышивка и драгоценные камни скрывают ткань ризы.

Он лежал в комнате с распахнутыми створчатыми окнами, в монашески строгой комнате дома шестнадцатого века, построенного возле собора, и даже свежий сентябрьский ветер не мог изгнать отсюда запах веков. Несколько цинний в старинной вазе на подоконнике были единственным красочным пятном, и сиделка заметила, что, когда у епископа открыты глаза, он, не отрываясь, смотрит на цветы. Около шести часов ему сообщили, что съехалась вся семья его давно умершего старшего брата.

— Устройте их поудобнее, — сказал он. — Я бы хотел повидать Адриана.

Когда через час епископ снова открыл глаза, он увидел у своей постели племянника Адриана. Несколько минут умирающий разглядывал его худое, смуглое лицо с бородкой, изрезанное морщинами и увенчанное седеющими волосами, — разглядывал с удивлением, словно племянник оказался старше, чем он ожидал. Потом, чуть подняв брови, он проговорил слабым голосом, все с той же насмешливой ноткой:

— Дорогой Адриан! Рад тебя видеть! Подвинься поближе. Вот так. Сил у меня мало, но я хочу, чтобы все они пошли тебе на пользу; хотя ты, может, скажешь, что во вред. Я могу говорить с тобой прямо или молчать. Ты не священник, поэтому и я буду говорить как человек светский, —

когда-то я им был, а может, так и остался. Я слышал, что ты питаешь склонность, или, как говорится, влюблен в одну даму, которая не может выйти за тебя замуж... Правда?

На добром морщинистом лице племянника мелькнула тревога.

— Правда, дядя Касберт. Мне очень жаль, если я тебя огорчаю.

— А склонность у вас взаимная?

Племянник пожал плечами.

— Со времен моей молодости, дорогой Адриан, свет изменил свои взгляды на многое, но брак все еще окружен неким ореолом. Впрочем, это дело твоей совести, и я не к тому веду... Дай мне воды.

Отпив глоток, он продолжал слабеющим голосом:

— После смерти вашего отца я был для всех вас *in loco parentis*<sup>2</sup> и хранителем семейных традиций. Хочу тебе напомнить: род наш старинный и славный. У старых семей только и осталось теперь, что врожденное чувство долга, а людям зрелым и с известным положением, как у тебя, не простят того, что простят человеку молодому. Мне было бы грустно покинуть этот

---

<sup>2</sup> Вместо отца (*лат.*).

мир, сознавая, что имя наше будет упоминаться в печати или станет пищей для сплетен. Извини, если я вторгся в твою личную жизнь, и разреши мне со всеми вами проститься. Лучше, если ты сам передашь остальным мое благословение, хотя боюсь, оно немногого стоит. Прощай, дорогой мой, прощай!

Голос упал до шепота. Умиравший закрыл глаза; Адриан постоял с минуту сгорбившись, глядя на его точеное восковое лицо, потом на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее и вышел.

Вернулась сиделка. Губы епископа шевелились, брови слегка подергивались, но он заговорил еще только один раз:

— Будьте добры, позаботьтесь, чтобы голова у меня лежала прямо и рот был закрыт. Простите, что я говорю о таких мелочах, но мне не хочется произвести отталкивающее впечатление.

Адриан спустился в длинную, обшитую панелями комнату, где дожидались родственники.

— Кончается. Он шлет вам всем свое благословение.

Сэр Конвей откашлялся, Хилери сжал Адриану руку.

Лайонел отошел к окну. Эмили Монт вынула крошечный платочек и протянула другую руку сэру Лоренсу. Одна Уилмет спросила:

— А как он выглядит?

— Как призрак воина на щите.

Сэр Конвей снова откашлялся.

— Хороший был старик! — тихо сказал сэр Лоренс.

— Да, — со вздохом произнес Адриан.

Так они молча сидели и стояли, смирясь с неудобствами этого дома, где витала смерть. Принесли чай, но, словно по молчаливому уговору, никто до него не дотронулся. И вдруг зазвонил колокол. Все семеро подняли головы. Где-то в пространстве взоры их встретились, скрестились, словно они во что-то вглядывались, хотя там ничего не было.

Кто-то вполголоса сказал с порога:

— Теперь, если хотите, можно с ним проститься.

Сэр Конвей, самый старший из всех, пошел за духовником епископа; остальные двинулись за ним.

Белый, прямой и строгий лежал епископ на своей узкой кровати, придвинутой изголовьем к стене, как раз против створчатых окон, и был он как-то еще вышемернее, чем прежде. В смерти он, казалось, стал даже красивее, чем при жизни. Никто из присутствующих, в том числе и его духовник, тоже глядевший на него в эту минуту, не знал — действительно ли Касберт Портсминстерский был человеком верующим, не говоря, конечно, о вере в земную славу церкви, которой он так преданно

служил. Теперь они смотрели на него с самыми различными чувствами, какие вызывает смерть у людей разного склада, но все они испытывали одно общее ощущение — чисто эстетическое удовольствие при виде такого незабываемого величия.

Конвей — генерал сэр Конвей Черрел — видел много смертей на своем веку. Сейчас он стоял, скрестив опущенные руки, как когда-то в Сандхерсте<sup>3</sup> по команде «вольно». Лицо его со впалыми висками, тонкими губами и тонким носом выглядело чересчур аскетическим для солдата; глубокие морщины сбегали по обветренным щекам от скул до левого подбородка, темные глаза глядели пристально, над верхней губой топорщились короткие усы с проседью; он был, пожалуй, самым спокойным из всех восьмерых, а стоявший рядом долговязый Адриан — самым беспокойным. Сэр Лоренс Монт держал под руку свою жену Эмили, и его худое, нервное лицо словно говорило: «Какое прекрасное зрелище... Не плачь, дорогая».

Хилери и Лайонел стояли по обе стороны Уилмет; на их длинных, узких и решительных лицах, морщинистом — у Хилери и гладком — у

---

<sup>3</sup> Офицерское училище.

Лайонела, застыло выражение какого-то грустного недоумения, словно и тот и другой ожидали, что глаза покойника вот-вот откроются. Высокая, худощавая Уилмет раскраснелась и сжала губы. Духовник стоял с опущенной головой, губы его шевелились, точно он шептал про себя молитву. Так они простояли минуты три, потом с подавленным вздохом потянулись к двери и разошлись по своим комнатам.

Когда они встретились снова за ужином, помыслы и разговоры их вернулись к делам житейским. Дядя Касберт ни с одним из них не был особенно близок, хоть и считался признанным главой семьи. Обсудили вопрос, похоронить ли его рядом с предками на фамильном кладбище в Кондафорде или здесь, в соборе. Вероятно, это должно было решить его завещание. Все, за исключением генерала и Лайонела, назначенных душеприказчиками, в тот же вечер вернулись в Лондон.

Прочитав завещание, — оно оказалось коротким, ведь умершему почти нечего было завещать — оба брата помолчали. Наконец генерал сказал:

— Я хочу с тобой посоветоваться. Насчет моего мальчика, Хьюберта. Ты читал, как на него накинута в палате перед роспуском на каникулы?

Скупой на слова Лайонел — его вот-вот



должны были назначить судьей — кивнул.

— Я читал, что был сделан запрос, но не знаю, что говорит об этом сам Хьюберт.

— Могу тебе рассказать. Возмутительная история. Конечно, он мальчик вспыльчивый, но чист, как стеклышко. На его слово можно положиться. И вот что я тебе скажу: будь я на его месте, я, наверно, поступил бы точно так же.

Лайонел кивнул.

— Что, собственно, случилось?

— Ты же знаешь, он пошел на войну добровольцем прямо из школы, хотя его возраст еще не призывали, год прослужил в авиации; был ранен, вернулся в строй, а после войны остался в армии. Служил в Месопотамии, потом в Египте и Индии. Подцепил тропическую малярию и в октябре прошлого года получил отпуск по болезни на целый год — до первого октября. Врачи рекомендовали ему попутешествовать. Хьюберт получил разрешение и отправился через Панамский канал в Лиму. Там он встретил американского профессора Халлорсена, того, что не так давно побывал в Англии и прочитал тут несколько лекций, кажется, о каких-то редкостных ископаемых в Боливии, — Халлорсен как раз снаряжал туда новую экспедицию. Когда Хьюберт попал в Лиму, экспедиция собиралась в путь, и Халлорсену нужен был начальник транспорта.

Хьюберт уже чувствовал себя хорошо и ухватился за эту возможность. Не выносит безделья. Халлорсен взял его — это было в декабре — и вскоре оставил начальником лагеря, одного с целой бандой индейцев, погонщиков мулов. Хьюберт был там единственным белым; к тому же его отчаянно трепала лихорадка. По его словам, эти индейцы — сущие черти; никакого понятия о дисциплине, и жестоко обращаются с животными. Хьюберт с ними не поладил, — я же говорю, что он мальчик вспыльчивый и очень любит животных. Индейцы все больше отбивались от рук; наконец один, которого Хьюберту пришлось отхлестать за скверное обращение с мулами и подстрекательство к мятежу, напал на него с ножом. К счастью, у Хьюберта был под рукой револьвер, и он его застрелил. Вся шайка, кроме трех человек, разбежалась; мулов они угнали. Не забудь, мальчик оставался там один почти три месяца, без всякой помощи, не получая никаких известий от Халлорсена. Но, хоть и еле живой, он кое-как продержался там с оставшимися людьми. Наконец вернулся Халлорсен и, вместо того чтобы посочувствовать ему, на него накинулся. Хьюберта это взорвало, он тоже в долгу не остался и сразу же взял да уехал. Вернулся домой и живет сейчас с нами, в Кондафорде. Малярия у него, к счастью, прошла, но он и сейчас еще никак не поправится. А

теперь этот тип, Халлорсен, разругал его в своей книге, свалил всю вину за провал экспедиции на него, обвинил в самодурстве и неумении обращаться с людьми, назвал необузданным аристократом, словом, наговорил всякого вздора — сейчас ведь это модно. Ну вот, один член парламента из военных к этому привязался и сделал запрос. От социалистов ничего хорошего и не ждешь, но когда военный обвиняет тебя в поведении, недостойном английского офицера, это уже никуда не годится. Халлорсен сейчас в Америке. Никто не может привлечь его к ответственности, и к тому же у Хьюберта нет свидетелей. Похоже, что вся эта история может испортить ему карьеру.

Длинное лицо Лайонела Черрела еще больше вытянулось.

— Он обращался в генеральный штаб?

— Да, ходил туда в среду. Встретили его холодно. Модная демагогия насчет самодурства знати их очень пугает. И все-таки там, в штабе, по-моему, могут помочь, если дело не пойдет дальше. Но разве это возможно? Хьюберта публично ошельмовали в этой книге, а в парламенте обвинили в уголовщине, в поведении, недостойном офицера и джентльмена. Проглотить такое оскорбление он не может, а в то же время... что ему делать?

Лайонел, куривший трубку, глубоко затаился.

— Знаешь что, — сказал он, — лучше ему не обращать на все это внимания.

Генерал сжал кулак.

— Черт возьми, Лайонел, ты это серьезно?

— Но он ведь признает, что бил погонщиков, а потом и застрелил одного из них. У людей не такое уж богатое воображение, — они его не поймут. До них дойдет только одно: в гражданской экспедиции он застрелил человека, а других избил. Никто и не подумает ему посочувствовать.

— Значит, ты всерьез советуешь ему проглотить обиду?

— По совести — нет, но с точки зрения житейской...

— Господи! Куда идет Англия? И что бы сказал дядя Франтик? Он так гордился честью нашей семьи.

— Я горжусь ею тоже. Но разве Хьюберт с ними справится?

Наступило молчание.

— Это обвинение марает честь мундира, а руки у Хьюберта связаны, — заговорил генерал. — Он может бороться, только выйдя в отставку, но ведь душой и телом он военный. Скверная история... Кстати, Лоренс говорил со мной об Адриане. Диана Ферз — урожденная Диана

Монтджой, правда?

— Да, троюродная сестра Лоренса... И очень хорошенькая женщина. Ты ее видел?

— Видел, еще девушкой. Она сейчас замужем?

— Вдова при живом муже... двое детей, а супруг в сумасшедшем доме.

— Весело. И неизлечим?

Лайонел кивнул.

— Говорят. Впрочем, никогда нельзя сказать наверняка.

— Господи!

— Вот именно. Она бедна, а Адриан еще беднее. Она его старая любовь, еще с юности. Если Адриан наделает глупостей, его выгонят с работы.

— Ты хочешь сказать — если он с ней сойдется? Но ему уже пятьдесят!

— Седина в голову... Больно уж хороша. Сестры Монтджой всегда этим славились... Как ты думаешь, он тебя послушается?

Генерал мотнул головой.

— Скорее он послушается Хилери.

— Бедняга Адриан... ведь он редкий человек! Поговорю с Хилери, но он всегда так занят.

Генерал поднялся.

— Пойду спать. У нас в усадьбе не так пахнет плесенью, а ведь Кондафорд построен куда раньше.

— Здесь слишком много дерева. Спокойной

ночи.

Братья пожали друг другу руки и, взяв каждый по свече, разошлись по своим комнатам.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Усадьба Кондафорд еще в 1217 году перешла во владение Черрелов — их имя писалось тогда Керуэл, а иногда и Керуал, в зависимости от прихоти писца; до них усадьбой владело семейство де Канфор (отсюда и ее название). История перехода имения в руки новых владельцев была овеяна романтикой: тот Керуэл, которому оно досталось благодаря женитьбе на одной из де Канфор, покорило сердце своей дамы тем, что спас ее от дикого кабана. Он был безземельным дворянином; его отец, француз из Гюйенны, перебрался в Англию после крестового похода Ричарда Львиное Сердце; она же была наследницей владетельных де Канфоров. Кабана увековечили в фамильном гербе; кое-кто подозревал, что скорее кабан в гербе породил легенду, чем легенда — кабана. Как бы то ни было, знатоки каменной кладки подтверждали, что часть дома была построена еще в двенадцатом веке. Когда-то его окружал ров, но при королеве Анне некий Черрел, одержимый страстью к новшествам — то ли ему показалось, что настал золотой век, то ли его

просто раздражали комары, — осушил ров, и теперь от него не осталось и следа.

Покойный сэръ Конвей, старший брат епископа, получивший титул в 1901 году, когда его назначили в Испанию, служил по дипломатической части. Поэтому при нем имение пришло в упадок. Он умер в 1904 году за границей, но упадок имения продолжался и при его старшем сыне, нынешнем сэре Конвее: находясь на военной службе, он до конца войны<sup>4</sup> лишь изредка наезжал в Кондафорд. Теперь, когда он жил здесь безвыездно, сознание, что его предки обосновались тут еще во времена Вильгельма Завоевателя, подсказывало ему, что надо привести родовое гнездо в порядок, и сейчас оно неплохо выглядело снаружи и казалось уютным внутри, хотя жить там генералу стало уже не по карману. Имение не могло приносить большого дохода — слишком много здесь было лесных угодий; хоть и не заложенное, оно давало всего несколько сот фунтов стерлингов в год. Пенсия генерала и скромная рента его жены (достопочтенной<sup>5</sup> Элизабет Френшем) позволяли им платить небольшие налоги, держать двух

---

<sup>4</sup> Имеется в виду первая мировая война 1914–1918 годов.

<sup>5</sup> Титул сыновей и дочерей высшей знати.

верховых лошадей для охоты и жить скромно, едва сводя концы с концами. Жена генерала была одной из тех женщин, которые кажутся такими незначительными и так много значат для своих близких. Ненавязчивая, мягкая, она никогда не сидела сложа руки и всегда держалась в тени, а ее бледное, спокойное лицо с застенчивой улыбкой говорило о том, что для душевного богатства вовсе не нужно денег и даже большого ума. Муж и трое ее детей знали, что всегда могут положиться на ее безграничную преданность. Все они были люди куда более живые и яркие, но с ней они отводили душу.

Она не поехала с генералом в Портсминстер и теперь дожидалась его дома. Обивка на мебели уже поистерлась, и генеральша стояла посреди гостиной, раздумывая, продержится ли она еще сезон, но тут появился шотландский терьер, а за ним ее старшая дочь Элизабет, которую все звали Динни; тоненькая, довольно высокая, с каштановыми волосами, чуть-чуть вздернутым носом и широко расставленными васильковыми глазами и ртом, точно с картины Боттичелли, она напоминала цветок на длинном тонком стебле, — казалось, он вот-вот сломается, а он не ломался. Весь ее облик говорил о том, что ей трудно относиться к жизни серьезно. Она была похожа на родник, или ключ, где вода всегда весело журчит и



искрится. «Искрится, как шампанское», — говорил о ней ее дядюшка сэр Лоренс Монт. Ей уже исполнилось двадцать четыре года.

— Мама, нам придется носить траур по дяде Франтику?

— Не думаю; во всяком случае, не глубокий.

— Его похоронят здесь?

— Наверно, в соборе; отец нам скажет.

— Хочешь чаю? Скарамуш, сюда и не суй свой нос в паштет.

— Динни, меня так беспокоит Хьюберт.

— Меня тоже, мамочка, он какой-то сам не свой; от него остался один профиль, похож на старинную немецкую гравюру. Нечего ему было ездить в эту дурацкую экспедицию. С американцами трудно ладить, ну, а Хьюберту труднее, чем кому бы то ни было. Он никогда не мог с ними ужиться. Да и штатским, по-моему, незачем связываться с военными.

— Почему?

— Понимаешь, у военных ум такой закаменелый. Они твердо знают, что богу, а что — мамоне. Неужели ты не заметила?

Леди Черрел это заметила. Она застенчиво улыбнулась и спросила:

— А где он? Сейчас вернется отец.

— Он пошел с Доном за куропатками к ужину. Держу пари, что он их прозеваает, да и все

равно куропатки к ужину не поспеют. Хьюберт в таком настроении, что не приведи господь или, лучше сказать, не приведи дьявол. Ни о чем, кроме этой истории, не может думать. Одно для него спасение — влюбиться. Давай найдем ему подходящий идеал? Позвонить, чтобы принесли чай?

— Позвони. И сюда в комнату нужны свежие цветы.

— Сейчас нарву. Пойдем, Скарамуш!

Динни вышла в залитый сентябрьским солнцем парк; на нижней лужайке она заметила зеленого дятла и вспомнила детский стишок: «Семь малых птичек в семь клювов долбят, — берегись, червячок, тебя здесь съедят». Какая ужасная сушь! А все-таки циннии в этом году чудесные, — и она принялась их рвать. Они переливались всеми тонами в ее руках — от темно-красных до бледно-розовых и лимонно-желтых; красивые, но какие-то холодные. «Жаль, что не бывает клумб с живыми девушками, — подумала она, — мы бы могли сорвать там что-нибудь для Хьюберта». Она редко выказывала свои чувства, но глубоко в ее душе жили две заветные неотделимые друг от друга привязанности, — к брату и к Кондафорду; Кондафорд был смыслом ее жизни, она любила его с той страстью, какой никто бы у нее и не заподозрил; ее обуревало ревнивое желание

внушить своему брату такую же любовь к родным местам. Ведь она родилась здесь, когда все было еще в запустенье, — усадьба отстраивалась у нее на глазах. Для Хьюберта она была только местом, где можно провести праздники и отпуск. Динни же, хотя ей и в голову бы не пришло говорить о своем происхождении или обсуждать его всерьез на людях, втайне питала непоколебимую веру в свой род, его владения и дела. Каждый зверь, каждая птица, каждое деревцо в Кондафорде, даже цветы, которые она сейчас рвала, были частицей ее самой, так же как и простые люди здешней округи, в своих крытых соломой домишках, или старинная англиканская церковь, которую она посещала, хоть и не была глубоко верующим человеком, и тусклые кондафордские зори, которые ей редко случалось видеть, и лунные, оглашаемые криками совы ночи, и длинные солнечные лучи на стерне, — все запахи, звуки и даже самый воздух родных мест. Когда Динни бывала в отъезде, она никогда не жаловалась на тоску по дому, но томилась вдали от него, а возвратившись домой, старалась не проявлять своего восторга. Перейди Кондафорд в чужие руки, она бы, может, и не заплакала, но почувствовала себя как растение, вырванное с корнем из земли. Отец ее питал к Кондафорду спокойную привязанность человека, прожившего лучшие свои годы в других местах; мать принимала имение как

должное, ей приходилось хлопотать с утра до ночи, но все же оно не было ей родным гнездом; сестра терпела его поневоле, — она предпочла бы место повеселее; ну, а Хьюберт... что думал Хьюберт? Динни не знала. С целой охапкой цинний вернулась она в комнату. Затылок ее нагрело вечерним солнцем.

Мать стояла у чайного столика.

— Поезд опаздывает, — сказала она. — А Клер всегда так гонит машину.

— Не вижу никакой связи, мамочка.

Но она видела эту связь. Мать всегда беспокоилась, когда отец опаздывал.

— Мама, я все-таки считаю, что Хьюберту следует написать в газеты.

— Посмотрим, что скажет отец... он должен был поговорить с дядей Лайонелом.

— Вот и машина, — сказала Динни.

Вслед за генералом в комнату вошла его младшая дочь. Клер была самой яркой в семье. Она коротко стригла свои мягкие черные волосы, на ее бледном выразительном лице выделялись чуть подкрашенные губы. Взгляд ее карих глаз был прямой и нетерпеливый, невысокий лоб поражал белизной. Сквозь внешнее спокойствие проглядывало какое-то отчаянное удальство, и она выглядела старше своих двадцати лет. У нее была прекрасная фигура и царственная осанка.

— Бедняжка папа не обедал, — сказала она, входя.

— Ну и поездка, Лиз, — заметил генерал, — стаканчик виски с содовой и печенье — вот и все, что у меня было во рту с самого утра.

— Сейчас дам тебе гоголь-моголь с вином, — сказала Динни и вышла. Вслед за ней вышла и Клер.

Генерал поцеловал жену.

— Старик выглядел очень хорошо, дорогая; впрочем, все мы, кроме Адриана, видели его уже потом. Придется съездить на похороны. Думаю, что все будет очень пышно. Вот был человек, наш дядя Франтик. Говорил с Лайонелом о Хьюберте; он не знает, как быть. Но я кое-что надумал.

— Да?

— Все дело в том, как отнесется начальство к нападкам в парламенте. Хьюберта могут уволить в отставку. Тогда это конец. Лучше уж уйти в отставку самому. Ему надо явиться на медицинский осмотр первого октября. Удастся ли нам нажать кое на кого так, чтобы он ничего не заподозрил? Мальчик-то ведь гордый. Я бы мог повидаться с Топшемом, а ты поговори с Фоллэнби, ладно?

Лицо леди Черрел вытянулось.

— Я знаю, — сказал генерал, — это очень противно. Впрочем, все зависит от Саксендена, не знаю только, как до него добраться.

— Может быть, Динни что-нибудь придумает.

— Динни? — переспросил генерал. —

Пожалуй, она и правда умнее нас всех... не считая тебя, дорогая.

— Ну, — сказала леди Черрел, — я-то умом не могу похвастаться.

— Чушь! А вот и она!

Появилась Динни со стаканом в руке.

— Динни, я как раз говорил маме, что по делу Хьюберта нам надо обратиться к лорду Саксендену. Как бы это сделать?

— Через его соседей по имению. У него есть соседи?

— Его имение граничит с землями Уилфрида Бентуорта.

— Ну, вот. Значит, нужны дядя Хилери или дядя Лоренс.

— Почему?

— Уилфрид Бентуорт — председатель комитета по расчистке трущоб, а ведь это любимое детище дяди Хилери. Пустим в ход кумовство, дорогой.

— Гм... Хилери и Лоренс оба были в Портсминстере. Жаль, что мне это там не пришло в голову.

— Хочешь, я с ними поговорю?

— Вот было бы хорошо! Терпеть не могу просить о протекции. Конечно, дорогой. Это ведь

женское дело.

Генерал с подозрением посмотрел на дочь: он никогда толком не знал, шутит она или нет.

— Вот и Хьюберт, — поспешно сказала Динни.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хьюберт Черрел, за которым шел спаниель, пересекал с ружьем в руке старые серые плиты террасы. Он был худощав и строен, чуть выше среднего роста, с небольшой головой, обветренным лицом, не по возрасту изборожденным морщинами, и темными усиками над тонким нервным ртом; на висках уже пробивалась седина. Над впалыми загорелыми щеками выдавались скулы, широко расставленные карие глаза глядели зорко и беспокойно, над прямым тонким носом срослись брови. Он как бы повторял своего отца в молодости. Человек действия, вынужденный вести созерцательный образ жизни, чувствует себя не в своей тарелке; и с тех пор, как его бывший начальник выступил с нападками на него, Хьюберт не переставал злиться: он считал, что вел себя правильно или что его, во всяком случае, вынудили так действовать обстоятельства. Он раздражался еще и потому, что его воспитание и характер не позволяли ему жаловаться открыто. Солдат по

призванию, а не по случайности, он видел, что его военная карьера под угрозой, его имя офицера и дворянина запятнано, а он не может отплатить своим обидчикам. Голова его, казалось Хьюберту, зажата как в тисках, и каждый, кому не лень, может нанести ему удар, — мысль невыносимая для человека с его характером. Оставив на террасе ружье и собаку, он вошел в гостиную и сразу почувствовал, что говорили о нем. Теперь ему то и дело приходилось наталкиваться на такие разговоры, — ведь в этой семье неприятности каждого волновали всех остальных. Взяв из рук матери чашку чаю, он объявил, что птицы дичают все больше — ведь леса так поредели, — после чего воцарилось молчание.

— Ну, пойду посмотрю почту, — сказал генерал и ушел вместе с женой.

Оставшись наедине с братом, Динни решила поговорить с ним начистоту.

— Хьюберт, надо что-то предпринять.

— Не волнуйся, сестренка; история, конечно, скверная, но что поделаешь?

— Ты бы мог сам написать, как было дело, — ведь ты вел дневник. Я бы напечатала его на машинке, а Майкл найдет тебе издателя, он всех знает. Нельзя же сидеть сложа руки.

— Терпеть не могу выставлять свои чувства напоказ; а тут без этого не обойдешься.



Динни нахмурила брови.

— А я не желаю, чтобы этот янки сваливал на тебя вину за свою неудачу. Тут затронута честь армии.

— Даже так? Я поехал туда как частное лицо.

— Почему бы не опубликовать твой дневник?

— От этого лучше не станет. Ты его не читала.

— Мы могли бы кое-что вычеркнуть, кое-что приукрасить, и все такое. Понимаешь, папа принимает это так близко к сердцу!

— Тебе стоит его прочитать. Но там полно всяких излишней. Наедине с собой не стесняешься.

— Ты можешь выбросить оттуда все что угодно.

— Большое тебе спасибо, Динни.

Динни погладила его рукав.

— Что за человек этот Халлорсен?

— Откровенно говоря, он человек неплохой: дьявольски вынослив, ничего не боится, никогда не выходит из себя, но для него важнее всего в жизни собственная персона. Неудач у него быть не может, а уж если они случаются, отдуваться должен другой. По его словам, экспедицию подвел транспорт, ну, а транспортом ведал я. Но будь на моем месте сам архангел Гавриил, — и он бы ничего не сделал. Халлорсен ошибся в расчетах и не желает в этом сознаться. Обо всем этом

написано в дневнике.

— А это ты видел? — Она показала ему газетную вырезку и прочитала вслух — «Как стало известно, капитан Черрел, кавалер ордена „За особые заслуги“, возбуждает дело против профессора Халлорсена, чтобы реабилитировать себя в связи с обвинениями, выдвинутыми Халлорсеном в книге о его боливийской экспедиции; в своей книге Халлорсен приписывает капитану Черрелу, не оправдавшему его доверия в трудную минуту, ответственность за провал экспедиции». Видишь, кто-то хочет натравить вас друг на друга.

— Где это напечатано?

— В «Ивнинг сан».

— «Возбуждает дело!» — с горечью воскликнул Хьюберт. — Какое дело? У меня нет никаких доказательств; уж об этом-то он позаботился, когда оставил меня с этой шайкой туземцев.

— Значит, у нас одна надежда — дневник.

— Сейчас принесу тебе эту чертовщину...

Весь вечер Динни просидела у окна, читая «эту чертовщину». Полная луна плыла за старыми вязами; кругом стояла могильная тишина. Лишь где-то на холме одиноко позвякивал какой-то колокольчик да одинокий цветок магнолии белел у

самого окна. Все казалось каким-то призрачным, и Динни то и дело прерывала чтение, чтобы поглядеть на это волшебство. Десять тысяч полных лун проплыло тут с тех пор, как ее предки получили этот клочок земли; вокруг царил нерушимый покой, а со страниц дневника на нее веяло мучительным одиночеством. Жестокими словами говорилось там о жестоких делах: белый, брошенный среди дикарей; он любил животных, а кругом животные подыхали от голода, и люди не знали к ним жалости. Глядя на эту холодную, застывшую красоту за окном, она испытывала стыд и отчаяние.

«Эта подлая скотина Кастро снова пырлял мулов ножом. Несчастные твари совсем отощали и еле тянут. Предупредил его в последний раз. Если это повторится, он отведаст хлыста... Опять лихорадка».

«Кастро досталось сегодня как следует — дюжина ударов; посмотрим, уймется он теперь или нет. Никак не могу поладить с этими скотами; в них нет ничего человеческого. Эх, хоть бы денек провести в Кондафорде верхом, позабыть здешние болота и несчастных мулов, от которых остались кожа да кости...»

«Отстегал еще одного из этих скотов — чудовищно обращаются с мулами, будь они трижды прокляты!.. Снова приступ...»

«Чистейший ад! Утром они взбунтовались. Устроили мне засаду. К счастью, меня предупредил Мануэль — славный парень. И все-таки Кастро едва не проткнул мне глотку ножом. Здорово поранил мне левую руку. Я его пристрелил. Может, теперь они поостерегутся. От Халлорсена никаких вестей. Долго еще собирается он держать меня в этом чертовом логове? Рука горит, как в огне...»

«Ну теперь уж мне крышка: пока я спал, эти черти угнали в темноте мулов и скрылись. Остались только Мануэль и еще двое. Мы долго за ними гнались; нашли двух павших мулов, и только; мерзавцы разбежались кто куда; ищи ветра в поле. Вернулся в лагерь чуть живой... Бог знает, выберемся ли мы отсюда когда-нибудь. Рука страшно ноет, надеюсь, это не заражение крови...»

«Думал двинуться сегодня пешком. Сложил грудку камней и оставил записку для Халлорсена — описал ему все на случай, если он в конце концов придет за мной; потом передумал. Останусь здесь, пока он не вернется или пока мы все тут не подохнем, что куда более вероятно...»

Так и шла эта мучительная повесть до самого конца. Динни отложила неразборчивые, пожелтевшие записки и облокотилась на подоконник. Тишина и холодный свет за окном отрезвили ее. Пыл ее охладел. Хьюберт прав. Зачем

выставлять напоказ душу? Нет! Только не это. Личные связи — другое дело, к ним придется прибегнуть; и уж тут-то она для него постарается!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Адриан Черрел был одним из тех любителей деревенской жизни, что постоянно живут в городе. Работа удерживала его в Лондоне, где он опекал целую коллекцию останков доисторического человека. Он задумчиво взирал на челюсть из Новой Гвинеи, получившую восторженные отзывы в печати, и говорил себе: «Очередная шумиха! Просто низший тип Homo sapiens <sup>6</sup>», — когда швейцар доложил:

— Вас спрашивает молодая дама, сэр, — кажется, мисс Черрел.

— Пусть войдет, Джеймс, — сказал он и подумал: «Динни? Как ее сюда занесло?»

— А! Динни! Канробер утверждает, что это челюсть яванского питекантропа, Моклей — эоантропа, а Элдон П. Бэрбенк — австралопитека. А я говорю — sapiens: взгляни на коренной зуб.

— Вижу, дядя Адриан.

— Совсем как у человека. У этого типа болели

---

<sup>6</sup> Мыслящий человек (*лат.*).

зубы. Зубная боль — признак высокоразвитой культуры. Недаром росписи Альтамиры были найдены в пещерах кроманьонской эпохи. Этот парень, безусловно, Homo sapiens.

— Зубная боль — признак культуры? Забавно! Я приехала в город поговорить с дядей Хилери и дядей Лоренсом, но подумала, — если сначала мы с тобой пообедаем, я буду чувствовать себя увереннее.

— Ну тогда пойдем в кафе «Болгария», — сказал Адриан.

— Почему?

— Потому что там пока еще хорошо кормят. Это новый ресторан, там пропагандируют все болгарское и мы сможем пообедать вкусно и дешево. Хочешь попудрить нос?

— Хочу.

— Тогда иди вон туда.

Дожидаюсь племянницы, Адриан стоял, поглаживая козлиную бородку, и прикидывал, что можно заказать на восемнадцать шиллингов шесть пенсов; он был государственным служащим без собственных средств, и у него редко оказывалось в кармане больше одного фунта стерлингов.

— Дядя Адриан, — спросила Динни, когда они сидели за глазуньей по-болгарски, — что ты знаешь о профессоре Халлорсене?

— Это тот, который собирался открыть в

Боливии первые очаги цивилизации? Да, и взял с собой Хьюберта.

— А! Но, кажется, бросил его где-то по дороге.

— Ты с ним знаком?

— Да. Я познакомился с ним в тысяча девятьсот двадцатом году, мы вместе поднимались на Малого Грешника в Доломитах.

— Он тебе понравился?

— Нет.

— Почему?

— Видишь ли, он был вызывающе молод, обогнал меня и первым взобрался на вершину... Он чем-то напоминал мне бейсбол. Ты видела когда-нибудь, как играют в бейсбол?

— Нет.

— А я однажды видел, в Вашингтоне. Они носят противника, чтобы его расстроить. Обзывают сосунком, ловкачом и президентом Вильсоном, — словом, всем, что только в голову придет, — как раз, когда он собирается ударить по мячу. Такой уж у них обычай. Лишь бы выиграть, любой ценой.

— А ты сам разве не думаешь, что главное — выиграть, любой ценой?

— Кто же в этом признается?

— Но ведь все мы ничем не гнушаемся, если нет выхода?

— Да, так бывает даже в политике.

— А ты бы пытался выиграть любой ценой?

— Наверно.

— Нет, ты бы не стал. А вот я — да.

— Ты очень любезна, детка, но откуда вдруг такое самоуничижение?

— Я сейчас кровожадна, как комар: жажду крови недругов Хьюберта. Вчера я читала его дневник.

— Женщина еще не утратила веры в свое божественное всемогущество, — задумчиво произнес Адриан.

— Думаешь, нам это угрожает?

— Нет, как бы вы ни старались, вам никогда не удастся уничтожить веру мужчин в то, что они вами командуют.

— Как лучше всего уничтожить такого человека, как Халлорсен?

— Либо дубинкой, либо выставив его на посмешище.

— Наверно, то, что он придумал насчет боливийской цивилизации, — чепуха?

— Полная чепуха. Там нашли странных каменных истуканов, происхождение которых еще не известно, однако его теория, по-моему, не выдерживает никакой критики. Но позволь, дорогая, ведь Хьюберт тоже принимал во всем этом участие.



— Наука Хьюберта не касалась, он там ведал транспортом. — Динни пустила в ход испытанное оружие: она улыбнулась. — А что если поднять на смех Халлорсена за его выдумку. У тебя это так чудно получится, дядя!

— Ах ты, лиса!

— А разве не долг серьезного ученого — высмеивать всякие бредни?

— Будь Халлорсен англичанином — возможно; но он американец, и с этим надо считаться.

— Почему? Ведь наука не знает границ.

— В теории. На практике многое приходится спускать: американцы так обидчивы. Помнишь, как они недавно взъелись на Дарвина? Если бы мы их тогда высмеяли — дошло бы, чего доброго, и до войны.

— Но ведь большинство американцев сами над этим смеялись.

— Да, но другим они этого не позволяют. Хочешь суфле «София»?

Некоторое время они молча ели, с удовольствием поглядывая друг на друга. Динни думала: «Как я люблю его морщинки, да и борода у него просто прелесть». Адриан думал: «Хорошо, что нос у нее чуть-чуть вздернутый. Прелестные у меня все-таки племянницы и племянники». Наконец Динни сказала:

— Значит, дядя, ты постараешься придумать, как нам проучить этого человека за все его подлости по отношению к Хьюберту?

— Где он сейчас?

— Хьюберт говорит — в Штатах.

— А тебе не кажется, что кумовство — это порок?

— И несправедливость тоже, а своя кровь — не вода.

— Это вино, — с гримасой сказал Адриан, — куда жиде воды. Зачем тебе нужен Хилери?

— Хочу выпросить у него рекомендательное письмо к лорду Саксендену.

— Зачем?

— Отец говорит, он важная птица.

— Значит, решила пустить в ход протекцию?

Динни кивнула.

— У порядочных и совестливых людей это не получается.

Ее брови дрогнули, она широко улыбнулась, показав очень белые и очень ровные зубы.

— А я себя ни к тем, ни к другим и не причисляю.

— Посмотрим. А пока, возьми болгарскую папиросу, — действительно первоклассная пропаганда.

Динни взяла папиросу и, глубоко затянувшись, спросила:

— Ты видел дядю Франтика?

— Да. Очень достойно ушел из мира. Я бы сказал — парадно. Зря он связался с церковью; дядя Франтик был прирожденный дипломат.

— Я видела его только два раза. Но неужели и он не смог бы добиться того, чего хотел, при помощи протекции, не потеряв при этом достоинства?

— Ну, он-то действовал иначе — умелым подходом и личным обаянием.

— Учтивостью?

— Да, он был учтив, как вельможа, таких сейчас уже не встретишь.

— Ну, дядя, мне пора; пожелай мне поменьше совестливости и побольше нахальства.

— А я вернусь к челюсти из Новой Гвинеи, которой надеюсь повергнуть в прах моих ученых собратьев, — сказал Адриан. — Если я смогу помочь Хьюберту, не вступая в сделку с совестью, я ему помогу. Во всяком случае, я об этом подумаю. Передай ему привет. До свидания, дорогая!

Они расстались, и Адриан вернулся в музей. Взяв снова в руки челюсть из Новой Гвинеи, он стал размышлять о совсем другой челюсти. Он уже достиг того возраста, когда кровь человека сдержанного, привыкшего к размеренной жизни, течет ровно, и его «увлечение» Дианой Ферз, которое захватило его давно, еще до ее рокового

замужества, приобрело некий альтруистический оттенок. Ее счастье было для него дороже своего собственного. В его постоянных думах о ней забота о том, «что лучше для нее», всегда занимала первое место. Он так давно только мечтал о ней, что ни о какой навязчивости с его стороны не могло быть и речи, да к тому же навязчивость была совсем не в его характере. Но ее овальное, обычно грустное, лицо с темными глазами, прелестным ртом и носом, то и дело заслоняло очертания челюстей, тазобедренных костей и прочих интересных образчиков его коллекции. Диана Ферз жила со своими двумя детьми в маленьком домике в районе Челси на средства мужа, который вот уже четыре года находился в частной клинике для умалишенных без всякой надежды на выздоровление. Ей было около сорока; она пережила страшные дни прежде чем Ферз окончательно потерял рассудок. В своих воззрениях и привычках Адриан был несколько старомоден; антропология научила его тому, что история человечества развивается по определенным законам; он принимал жизнь с чуть-чуть насмешливым фатализмом. Он не принадлежал к тем людям, которые хотят переделать жизнь, да и трагическое замужество дамы его сердца не позволяло ему и мечтать о брачном венце. Горячо желая ей счастья, он не знал, как ей помочь. Теперь

у нее есть хотя бы покой, а заодно и средства того, с кем судьба обошлась так жестоко. К тому же муж Дианы внушал Адриану нечто вроде суеверного страха, какой первобытные люди испытывают перед несчастными, потерявшими разум. Ферз был славным парнем до той поры, пока болезнь не нарушила его душевного равновесия. Но перед этим он уже два года вел себя так, что это можно было объяснить только помрачением рассудка. Он был одним из «богом обиженных», и его беспомощность обязывала других относиться к нему с предельной щепетильностью.

Адриан отложил челюсть и снял с полки гипсовый слепок черепа питекантропа; останки этого удивительного создания нашли в Триниле на Яве, и он вызвал ожесточенные споры о том, считать ли его человеко-обезьяной или обезьяно-человеком. Какой долгий путь от него до современного англичанина, — вот его череп, там над камином! Сколько ни взывай к авторитетам, никто не ответит на вопрос: где же колыбель *Homo sapiens*, где то гнездо, где он вылупился из питекантропа, эоантропа, неандертальца или другого, еще неизвестного их родича? Единственной страстью Адриана, кроме страсти к Диане Ферз, было жгучее желание найти родовое гнездо человеческой породы. Сейчас ученые тешились теорией о происхождении человека от

неандертальца, но Адриан не мог с ней согласиться. Когда развитие вида достигает такой стадии, как та, что была обнаружена у этих звероподобных особей, вид не может изменяться так резко. С равным основанием можно было бы говорить о том, что благородный олень произошел от лося. Он повернулся к огромному глобусу, где каллиграфическим почерком были нанесены все существенные открытия, касающиеся происхождения человека, вместе с данными о геологических изменениях, эпохах и климате. Где же, где искать решения? Это загадка, величайшая загадка на свете, решить ее можно только так, как это делают французы: наметить по наитию какую-нибудь возможную точку, чтобы затем подтвердить гипотезу исследованиями на месте. Где эта точка — в предгорьях Гималаев, в Фаюме, или она навеки погребена в пучине моря? Если она и в самом деле покоится на дне моря, ее никогда не удастся точно установить. Быть может, это чисто академический вопрос? Не совсем, — ведь с ним связана проблема сущности человека, истинной подоплеки его характера, столь важная для социальной философии, проблема, так часто всплывающая последнее время: является ли человек по самой натуре своей добропорядочным и миролюбивым, как позволяют заключить исследования жизни животных и некоторых так

называемых «диких» народов, или же он воинственный и беспокойный, как свидетельствует мрачная летопись истории? Найдя родовое гнездо Homo sapiens, обнаружишь, быть может, доказательство того, кто он — дьяволо-ангел или ангело-дьявол. Адриана, по его характеру, очень привлекал тезис о врожденном благородстве человека, но склад ума не позволял ему легко и просто брать на веру что бы то ни было. Даже самые кроткие животные и птицы подчиняются закону самосохранения так же, как и первобытный человек; извращения цивилизованного человека начались с расширением круга его деятельности и обострением борьбы за существование — другими словами, по мере того как усложнялась задача самосохранения в условиях так называемой цивилизованной жизни. Примитивная жизнь первобытных людей дает меньше поводов к извращенному проявлению инстинкта самосохранения, но это еще ничего не доказывает. Лучше всего принимать современного человека таким, как он есть, и стараться ограничить его возможности творить зло. И не стоит так уж полагаться на врожденное благородство первобытных народов. Только вчера Адриан прочел очерк об охоте на слонов в Центральной Африке: по словам автора, мужчины и женщины из первобытного африканского племени, служившие

загонщиками у белых охотников, набросились на еще не остывшие туши убитых слонов, разорвали их на куски и тут же съели, а потом скрылись в лесу, пара за парой, чтобы завершить свой пир. В конце концов у цивилизации есть свои хорошие стороны.

Тут размышления Адриана были снова прерваны швейцаром.

— Сэр, к вам какой-то профессор Халлорсен. Хочет взглянуть на черепа из Перу.

— Халлорсен? — с изумлением переспросил Адриан. — Вы не путаете? Я думал, он в Америке.

— Он сказал, что его фамилия Халлорсен, сэр; такой высокий господин, говорит, как американец. Вот его карточка.

— Гм! Зовите его, Джеймс.

И он подумал: «Тень Динни! Что мне ему сказать?»

В комнате появился очень высокий и очень красивый человек лет тридцати восьми. Его гладко выбритое лицо дышало здоровьем, глаза жизнерадостно блестели, в темных волосах кое-где пробивалась ранняя седина. С ним в комнату словно ворвался свежий ветер. Он сразу заговорил:

— Вы хранитель музея?

Адриан поклонился.

— Позвольте! Мы же встречались: помните, на горе, правда?



— Да.

— Ну и ну! Моя фамилия Халлорсен; слышали — экспедиция в Боливии? Говорят, у вас отличные черепа из Перу. У меня с собой несколько боливийских, хочется их сравнить. Люди пишут так много ерунды о черепах, а сами настоящих черепов и в глаза не видели.

— Совершенно верно, профессор. Я с удовольствием взгляну на ваших боливийцев. Между прочим, вы, кажется, не знаете, как меня зовут.

Адриан протянул ему карточку. Халлорсен ее взял.

— Вот как! А вы не родственник капитана Чаруэла, который точит на меня зубы?

— Я его дядя. Но у меня создалось впечатление, что зубы точите на него вы.

— Да, но он меня подвел!

— А он думает, что подвели его вы.

— Ну, знаете что, мистер Чаруэл...

— Между прочим, наша фамилия произносится Черрел.

— Черрел... да, теперь вспомнил. Если вы нанимаете человека на работу, а он с ней не справляется, и вы из-за этого садитесь в лужу, что прикажете — дать ему золотую медаль?

— По-моему, прежде чем точить зубы, нужно выяснить, выполняма ли такая работа.

— Зачем же он нанимался, если она была ему не по силам? Работа не бог весть какая: держать в руках кучку туземцев.

— Я не знаю подробностей, но слышал, что он отвечал и за вьючных животных.

— Правильно; ну и провалил все дело. Конечно, я не думаю, что вы станете на мою сторону против собственного племянника. Могу я посмотреть на ваших перуанцев?

— Разумеется.

— Весьма любезно с вашей стороны.

Во время осмотра Адриан то и дело поглядывал на стоявший рядом с ним великолепный экземпляр *Homo sapiens*. Ему редко доводилось видеть такого пышущего здоровьем и жизнерадостностью человека. Естественно, что всякая неудача выводит его из себя. Буйная энергия мешает ему быть объективным. Как и прочие американцы, он считает, что все должно идти так, как ему хочется, — и представить себе не может, что бывает иначе.

«В конце концов, — подумал Адриан, — он же не виноват, что принадлежит к излюбленным тварям господним — *Homo Transatlanticus Superbus*<sup>7</sup>», — и лукаво произнес:

---

<sup>7</sup> Великолепный трансатлантический человек (*лат.*).

— Стало быть, профессор, в будущем солнце будет вставать на западе?

Халлорсен улыбнулся — улыбка у него была обаятельная.

— Знаете, господин хранитель музея, мы, наверно, оба того мнения, что цивилизация началась с обработки земли. Если можно будет доказать, что мы на американском континенте выращивали маис давным-давно, может быть, за тысячелетия до того, как на древнем Ниле появились культуры ячменя и пшеницы, — почему бы реке истории и не течь с запада на восток?

— А как вы докажете вашу теорию?

— Видите ли, у нас есть сортов двадцать — двадцать пять маиса. Грвдличка утверждает, что понадобилось не менее двадцати тысяч лет, чтобы их вывести. Уже одно это доказывает наш неоспоримый приоритет в сельском хозяйстве.

— Увы! Ни один сорт маиса не рос в Старом Свете до открытия Америки.

— Совершенно верно; а в Америке прежде не росло ни одного из ваших злаков. Ну, а если культура Старого Света проложила себе дорогу к нам через Тихий океан, опять-таки возникает вопрос: почему она не принесла с собой своих злаков?

— Но ведь это еще не доказывает, что Америка — светоч для всего мира.

— Не знаю, может, и нет; но, во всяком случае, ее древняя цивилизация возникла на основе самостоятельного открытия собственных знаков; мы были первыми.

— Вы верите в Атлантиду, профессор?

— Балуюсь иногда этой мыслишкой.

— Ну-ну!.. Позвольте вас спросить; а вы не жалеете о своих нападках на моего племянника?

— Видите ли, когда я писал книгу, я был очень зол. Мы с вашим племянником не сошлись характерами.

— Тем больше оснований у нас сомневаться, что вы были справедливы.

— Если бы я отказался от своих обвинений, я поступил бы против совести.

— А вы уверены, что вы сами ничуть не повинны в своей неудаче?

Гигант нахмурил брови с таким изумлением, что Адриан поневоле подумал: «Во всяком случае, человек он честный».

— Не понимаю, куда вы клоните, — медленно проговорил Халлорсен.

— Вы же сами выбрали моего племянника?

— Да, из двадцати других.

— Вот именно. Значит, вы плохо выбрали?

— Конечно.

— Ошиблись в выборе?

Халлорсен расхохотался.

— Ловко вы меня поймали. Но я не из тех, кто хвастает своими ошибками.

— Вам нужен был человек без капли жалости в душе, — сухо сказал Адриан. — Что ж, вам действительно не повезло.

Халлорсен покраснел.

— Тут мы с вами не сговоримся. Ну что ж, возьму-ка я свои черепа и пойду. Спасибо за любезный прием.

С тем он и ушел.

Адриана обуревали самые противоречивые чувства. Этот тип оказался куда лучше, чем он думал. Великолепный экземпляр в физическом отношении, далеко не дурак, а его духовный склад... что ж, характерен для Нового Света, где человек не заглядывает далеко в будущее и где цель всегда оправдывает средства. «Жаль будет, — подумал он, — если они передерутся. А все-таки этот тип не прав; надо быть человечнее и не нападать на людей в печати. Уж очень он большой эгоист, наш друг Халлорсен». И Адриан положил новогвинейскую челюсть обратно в шкаф.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Динни направлялась к церкви святого Августина в Лугах. В этот солнечный день бедность района, в котором она очутилась, казалась ее

привыкшему к деревне глазу особенно гнетущей. Тем больше ее поразило веселье игравших на улице детей. Она спросила у одного из них, где находится дом священника, и за нею сразу увязалось пятеро. Они не отошли от нее и тогда, когда она позвонила, и это навело ее на мысль, что ими руководила не только любовь к ближнему. Они даже попытались войти вместе с нею в дом и удалились лишь после того, как она дала каждому по медяку. Ее провели в приятную комнату, у которой был такой вид, будто туда не часто заглядывают; Динни рассматривала репродукцию с картины Кастель Франко,<sup>8</sup> когда ее окликнули, и она увидела свою тетю Мэй. Как и всегда, миссис Хилери Черрел выглядела так, точно разрывалась на части и ей нужно было попасть в три места сразу, но вид у нее был благодушный и довольный, — она любила племянницу.

— Приехала в город за покупками, деточка?

— Нет, тетя Мэй, я приехала к дяде Хилери за рекомендательным письмом.

— Дядя в полиции.

В глазах Динни заиграли озорные искорки.

— Господи, что же он наделал?

Миссис Хилери улыбнулась.

---

<sup>8</sup> Джорджоне да Кастель Франко (Джорджо Барбарелли) (1478–1510) — итальянский художник.

— Пока ничего особенного, но если судья не проявит благоразумия, я ни за что не ручаюсь. Одну из наших девушек обвиняют в том, что она приставала к мужчинам.

— Надеюсь, не к дяде Хилери?

— Нет, дорогая, до этого еще не дошло. Дядя Хилери должен засвидетельствовать ее добропорядочность.

— А есть там добропорядочность, которую можно засвидетельствовать?

— В том-то все и дело. Хилери говорит, что есть, но я в этом не уверена.

— Мужчины так доверчивы. Я еще ни разу не была в полиции. Взглянуть бы там на дядю хоть одним глазком!

— Что ж, я иду в ту сторону. Могу тебя проводить.

Через пять минут они уже шли по улицам, которые все больше поражали Динни, привыкшую к живописной бедности сельских мест.

— Я никогда не представляла себе, — сказала она вдруг, — что Лондон похож на дурной сон.

— И беспробудный — вот ведь что страшно. Почему, скажи на милость, нельзя при нашей безработице принять программу перестройки трущоб для всей Англии? Она окупится за каких-нибудь двадцать лет. Политики проявляют чудеса энергии и принципиальности, пока они не у

власти, но стоит им до нее дорваться, как они просто плывут по течению.

— Это, тетечка, потому, что они не женщины.

— Ты что, шутишь?

— Ничуть. Женщины не так боятся жизни, они видят препятствия, только когда они осязаемы; мужчина всегда воспринимает их отвлеченно, он всегда говорит: «Ничего не выйдет». Женщина никогда так не скажет. Она возьмется за дело и посмотрит, выйдет или нет.

Миссис Хилери помолчала.

— Да, пожалуй, женщины смотрят на жизнь более трезво. У них и глаз острее и чувства ответственности меньше.

— Хорошо, что я не мужчина.

— Отраднo слышать, и все-таки им даже теперь живется лучше, чем нам.

— Это им так кажется, но я в этом сомневаюсь. По-моему, мужчины очень похожи на страусов. Они закрывают глаза на то, чего им не хочется видеть, но ведь это не преимущество.

— Если бы ты жила у нас, в Лугах, Динни, ты бы так не говорила.

— Если бы я жила в Лугах, тетя, я бы просто умерла.

Миссис Хилери посмотрела на племянницу. Она и правда казалась какой-то прозрачной и хрупкой, но в ней сказывалась «порода» и



чувствовалось, что дух ее сильнее плоти. Она могла проявить неожиданную выносливость и выдержку.

— Не думаю, Динни, род ваш живучий. Если бы не это, Хилери давно протянул бы ноги. Ну, вот и полиция. Жаль, что мне некогда зайти с тобой. Но все здесь будут очень любезны. Тут ведь тоже люди, хоть и не очень деликатные. Однако будь поосторожнее с теми, кто сидит рядом.

Динни подняла бровь.

— Вши, тетя Мэй?

— Не поручусь, что их там нет. Возвращайся пить чай, если успеешь.

Она ушла.

На торжище человеческой неделикатности яблоку негде было упасть: безошибочный нюх на всякую сенсацию заставил людей сбежаться сюда, где слушалось дело, по которому Хилери выступал свидетелем, — тут была затронута честь полиции. Динни заняла последние пятнадцать квадратных дюймов свободного места и поняла, что дело слушается вторично. Соседи справа напомнили ей детскую песенку: «Лекарь, сапожник, пекарь, пирожник».

Слева от нее стоял рослый полицейский. В глубине зала толпилось много женщин. Спертый воздух пропитался запахом неопрятной одежды. Динни взглянула на судью — вид у него был изможденный и какой-то кислый — и спросила

себя, почему он не поставит на стол курильницу с благовониями. Потом внимание Динни привлекла женская фигура на скамье подсудимых; это была девушка одного с ней возраста, такая же высокая, чистенько одетая, с приятными чертами лица, — вот только рот чувственный, что сейчас было совсем некстати. Динни решила, что она, пожалуй, блондинка. Обвиняемая стояла неподвижно, ее бледные щеки чуть раздвинулись, глаза испуганно бегали по сторонам. Звали ее, как выяснилось, Миллисент Поул. Насколько поняла Динни, некий полицейский заявил, что она приставала на Юстон-Род к двум мужчинам, — ни один из них, однако, не явился в суд, чтобы это подтвердить. Какой-то молодой человек, похожий на владельца табачной лавчонки, давал свидетельские показания: он видел, как обвиняемая два или три раза прошлась по улице; он обратил на нее внимание потому, что она «лакомый кусочек»; вид у нее был озабоченный, точно она что-то искала.

— Что-то или кого-то? — спросили у него.

Почем он знает? Нет, она не смотрела на тротуар; нет, она не нагибалась; на *него* она, во всяком случае, даже не взглянула. Он с ней заговорил? Еще чего выдумали! Что он делал на улице? Просто закрыл лавку и вышел подышать свежим воздухом. Он не заметил, заговаривала ли она с кем-нибудь? Нет, не заметил, но он и не стоял

там долго.

— Преподобный Хилери Чаруэл!

Динни увидела, как ее дядя поднялся со скамьи и занял место под балдахином на возвышении для свидетелей. Вид у него был энергичный, он совсем не походил на священнослужителя, и она с удовольствием смотрела на его худое, все в морщинках, решительное лицо, дышавшее юмором.

— Ваше имя Хилери Чаруэл?

— Черрел, если не возражаете.

— Ничуть. Вы священник прихода святого Августина-в-Лугах?

Хилери поклонился.

— Давно?

— Тринадцать лет.

— Вы знаете обвиняемую?

— С самого детства.

— Расскажите, пожалуйста, все, что вы о ней знаете.

Динни увидела, как дядя решительно повернулся лицом к судье.

— Ее отец и мать, сэр, были достойны самого глубокого уважения; они хорошо воспитали своих детей. Он был сапожник, конечно, бедный; в моем приходе все мы бедны. Я бы даже мог сказать, что умерли они от бедности; это случилось пять или шесть лет назад; с тех пор их дочери росли у меня

на глазах. Обе они работают у Петтера и Поплина. Я никогда не слышал ничего дурного о Миллисент. Насколько мне известно, она порядочная, честная девушка.

— А достаточно ли вы хорошо ее знаете?

— Видите ли... я часто посещаю тот дом, где она живет с сестрой. Если бы вы там побывали, сэр, вы бы сами поняли, — они с честью выходят из трудного положения.

— Она ваша прихожанка?

Хилери не сдержал улыбки, и судья улыбнулся ему в ответ.

Этого я бы не сказал. В наше время молодежь слишком дорожит воскресными днями. Но Миллисент одна из тех девушек, которые проводят праздники в нашем доме отдыха возле Доркинга. А девушки у нас там хорошие. Жена моего племянника, миссис Майкл Монт, которая заведует этим домом, прекрасно о ней отзывается. Хотите, я прочту ее отзыв? «Дорогой дядя Хилери. Ты спрашиваешь о Миллисент Поул. Она была у нас три раза; сестра-хозяйка считает, что она хорошая девушка и совсем не легкомысленная. У меня о ней сложилось такое же впечатление».

— Короче говоря, мистер Черрел, вы считаете, что в этом деле допущена ошибка?

— Да, сэр, я в этом уверен.

Девушка на скамье подсудимых приложила к

глазам платок. И Динни вдруг до глубины души возмутила унижительность ее положения. Быть выставленной напоказ перед всеми этими людьми, даже если она и делала то, в чем ее обвиняют! А почему бы девушке и не предложить мужчине пойти с ней погулять? Ведь он же всегда может отказаться.

Рослый полицейский переступил с ноги на ногу, окинул Динни взглядом и, словно почуяв ее дерзкие мысли, кашлянул.

— Благодарю вас, мистер Черрел.

Спускаясь с возвышения для свидетелей, Хилери заметил племянницу и помахал ей. Динни поняла, что разбор дела окончен и судья принимает решение. Он сидел неподвижно, соединив кончики пальцев, и глядел на девушку; она перестала вытирать глаза и тоже уставилась на него. Динни затаила дыхание. В эту минуту решается судьба человека! Рослый полицейский снова переступил с ноги на ногу. На чьей стороне были его симпатии — на стороне сослуживца или на стороне девушки? В зале наступила мертвая тишина, слышалось только поскрипывание пера. Судья разъединил кончики пальцев и объявил:

— Я не считаю обвинение доказанным. Обвиняемая свободна. Можете идти.

Девушка тихонько всхлипнула. Справа от Динни «пекарь-пирожник» хрипло выкрикнул:

— Правильно!

— Тс-с! — одернул его рослый полицейский.

Динни увидела дядю, выходявшего из зала рядом с девушкой; проходя мимо, он улыбнулся.

— Подожди меня, Динни, минутки две, не больше.

Проскользнув к выходу вслед за полицейским, Динни осталась ждать в вестибюле. Все вокруг наводило на нее такую жуть, какую испытываешь, зажигая ночью свет в пустой кухне; от запаха дезинфекции першило в горле; она подвинулась поближе к выходу. К ней обратился сержант полиции:

— Могу я быть вам чем-нибудь полезен, мисс?

— Спасибо, я жду дядю: он сейчас придет.

— Его преподобие?

Динни кивнула.

— А! Хороший человек наш священник. Девушку отпустили?

— Да.

— Ну, что ж. Всегда можно ошибиться. А вот и ваш дядюшка.

Хилери подошел и взял Динни под руку.

— А, сержант! — сказал он. — Как здоровье супруги?

— Первый сорт, сэр. Девушку, значит, вызволили?

— Да, — ответил Хилери. — А теперь я хочу курить. Пойдем, Динни.

И, кивнув на прощанье сержанту, он вывел ее на воздух.

— А ты как попала в это логово, Динни?

— Зашла за тобой. Меня привела тетя Мэй. Скажи, эта девушка правда не виновата?

— Понятия не имею. Но засудить ее — значит искалечить ей жизнь. Она задолжала за квартиру, и у нее больна сестра. Постой-ка, я зажгу трубку. — Он выпустил облако дыма и снова взял ее под руку. — А что тебе от меня нужно, дорогая?

— Рекомендательное письмо к лорду Саксендену.

— К Зазнайке Бентхему? Зачем он тебе?

— Для Хьюберта.

— Вот оно что! Хочешь соблазнить Бентхема?

— Да, если ты нас познакомишь.

— Я учился с ним в Харроу, — он был тогда всего лишь баронетом, — с тех пор я его не видел.

— Но ведь Уилфрид Бентуорт готов для тебя на все, а их имения рядом.

— Что ж, надеюсь, Бентуорт даст мне для тебя записку.

— Этого мало. Мне надо встретиться с лордом Саксенденом где-нибудь в обществе.

— Гм! Да, пожалуй, иначе тебе его не соблазнить. А в чем, собственно, дело?

— На карту поставлено будущее Хьюберта. Мы хотим погасить огонь, пока не разгорелся пожар.

— Понятно. Но в таком случае, Динни, тебе нужен Лоренс. В будущий вторник Бентуорт едет к нему в Липпингхолл поохотиться на куропаток. Поезжай и ты туда.

— Я подумывала о дяде Лоренсе, но не могла упустить случай повидаться с тобой.

— Ах, моя дорогая, — сказал Хилери, — прелестные феи не должны говорить таких вещей. А то я совсем зазнаюсь. Ну, вот мы и пришли. Зайди, выпей чаю.

В гостиной Динни с изумлением увидела дядю Адриана. Он сидел в уголке, подобрав длинные ноги, в обществе двух молодых женщин, похожих на учительниц. Он помахал Динни чайной ложечкой и вскоре подсел к ней.

— Динни, как ты думаешь, кто пришел ко мне, как только мы расстались? Сам злодей, — захотел посмотреть моих перуанцев.

— Неужели Халлорсен?

Адриан протянул ей карточку: «Профессор Эдуард Халлорсен»; карандашом было приписано: «Гостиница Пьемонт».

— Он куда симпатичнее, чем мне показалось тогда в Доломитах; там он был просто заросший щетиной верзила; пожалуй, он не так уж плох, если



правильно к нему подойти. Вот я и хотел сказать: попробуй-ка найти к нему подход.

— Ты не читал дневника Хьюберта, дядя.

— Я бы охотно его прочел.

— Ты, наверно, его и прочтешь. Надеюсь, он будет опубликован.

Адриан тихонько свистнул.

— Подумай хорошенько, девочка. Собачья драка доставляет удовольствие всем, кроме самых собак.

— Халлорсен сделал свой ход. Теперь очередь Хьюберта.

— Знаешь, Динни, никогда не вредно поглядеть на противника, прежде чем вступишь в игру. Дай-ка я устрою небольшой обед. Диана Ферз пригласит нас к себе; ты сможешь у нее переночевать. Как насчет понедельника?

Динни поморщила вздернутый носик. Если она и правда поедет на той неделе в Липпингхолл, понедельник ее устраивает. Стоит взглянуть на этого американца прежде чем объявлять ему войну.

— Хорошо, дядя, большое тебе спасибо. Если ты едешь сейчас в Уэст-энд,<sup>9</sup> можно мне с тобой? Я хочу зайти к тете Эмили и дяде Лоренсу. Маунт-стрит тебе по дороге.

---

<sup>9</sup> Западная часть Лондона.

— Ладно. Допивай чай и едем.

— Я уже кончила, — сказала Динни, вставая.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ей опять повезло, — она застала и третьего своего дядю; тот задумчиво разглядывал собственный дом на Маунт-стрит, словно собирался его купить.

— А, Динни! Пойдем, тетя хандрит и будет тебе рада. Мне недостает старого Форсайта, — добавил он в холле. — Я прикидывал, сколько запросить за дом, если мы сдадим его на зиму. Ты не знала старого Форсайта — отца Флер; занятный был человек.

— А что с тетей Эм?

— Ничего, дорогая. Просто вид бедного старого дяди Франтика заставил ее призадуматься о будущем. А ты когда-нибудь думаешь о будущем, Динни? Грустная это штука, когда прошла молодость.

Он открыл дверь.

— А к нам приехала Динни.

В обшитой панелью гостиной стояла Эмили, леди Монт, со своим попугаем на плече, — она смахивала метелкой пыль с комнатных цветов. Опустив метелку, она с каким-то рассеянным видом подошла и поцеловала племянницу.

— Осторожно, Полли, — сказала она попугаю.

Попугай перебрался на плечо Динни и с любопытством наклонил головку, заглядывая ей в лицо.

— Полли прелесть, — сказала леди Монт, — ты не рассердишься, если он ущипнет тебя за ухо? Я так рада, что ты приехала, Динни; у меня на уме одни похороны. Скажи, как, по-твоему, живут на том свете?

— А разве он есть, тетечка?

— Ах, Динни! Как все это грустно!

— Может, тот, кому он нужен, туда и попадает.

— Ты совсем как Майкл. Он тоже все умничает. Где ты нашел Динни, Лоренс?

— На улице.

— Какое неприличие. Динни, как поживает отец? Надеюсь, он не заболел, переночевав в этом ужасном доме в Портсминстере? Там так пахло сушеными мышами!

— Нас всех очень беспокоит Хьюберт.

— А! Хьюберт, ну, конечно. Знаешь, мне кажется, он напрасно бил этих людей. Застрелить — еще куда ни шло, но бить — это так прозаично; и потом, он ведь не Железный герцог.

— Разве тебе никогда не хотелось избить ломового извозчика, когда он хлещет лошадь,

которая тащит в гору тяжелый воз?

— Хотелось. А разве они это делали?

— Только похуже. Выкручивали мулам хвосты, кололи их ножами и вообще мучили бедных животных как могли.

— Правда? Тогда хорошо, что он их побил, хотя я не люблю мулов с тех пор, как мы взбирались на Гемми. Помнишь, Лоренс?

Сэр Лоренс кивнул. На лице его было то ласковое, чуть насмешливое выражение, которое всегда напоминало Динни о тете Эм.

— А что там случилось, тетя?

— Они на меня свалились, — не все, конечно, а тот, на котором я ехала. А мне говорили, что мулы никогда ни на кого не падают — они такие устойчивые.

— Как это некрасиво с его стороны!

— Еще бы, и очень неприятно — так фамильярно. Как ты думаешь, Хьюберт не приехал бы на той неделе в Липпингхолл пострелять куропаток?

— По-моему, Хьюберта сейчас трудно куда-нибудь вытащить. У него на душе кошки скребут. Но если у тебя найдется конурка для меня, — можно мне приехать?

— Конечно. Места хватит. Давай-ка посчитаем: будут только Чарли Маскем со своей новой женой, мистер Бентуорт с Генриеттой, Майкл

и Флер, Диана Ферз, может быть, Адриан, раз он все равно не умеет стрелять, и тетя Уилмет. Ах да! Еще лорд Саксенден.

— Не может быть! — воскликнула Динни.

— А что? Его нельзя принимать в обществе?

— Наоборот, я так рада. За ним-то я и гоняюсь.

— Какое неприличное слово; никогда не слышала, чтобы это так называлось. К тому же где-то есть еще и леди Саксенден, но она всегда болеет.

— Да нет же, тетя Эм. Он мне нужен из-за Хьюберта. Отец говорит, что за кулисами он самый главный.

— Динни, вы с Майклом очень странно выражаетесь. Какие кулисы?

Сэр Лоренс нарушил гробовое молчание, которое обычно хранил в присутствии жены.

— Динни хочет сказать, что Саксенден вертит делами армии за кулисами.

— Что он собой представляет, дядя Лоренс?

— Зазнайка? Мы знакомы с ним много лет... занятный тип.

— Ах, как меня все это волнует! — сказала леди Монт, беря у Динни попугая.

— Тетечка, милая, мне ничто не угрожает.

— Да, но этому лорду... как его... Зазнайке? Я всегда берегла репутацию Липпингхолла. Я и так

уж сомневаюсь насчет Адриана, но... — она посадила попугая на камин, — он мой любимый брат. Чего не сделаешь для любимого брата!

— Вот именно, — сказала Динни.

— Все будет в порядке, Эм, — вставил сэр Лоренс. — Я присмотрю за Динни и Дианой, а ты не спускай глаз с Адриана и Зазнайки.

— Твой дядя становится с каждым годом все легкомысленнее, он мне рассказывает просто ужасные истории.

Она остановилась рядом с сэром Лоренсом, и он взял ее под руку.

«Черный ферзь и белая ладья», — подумала Динни.

— До свидания, Динни, — вдруг сказала леди Монт. — Я должна лечь. Шведская массажистка сгоняет с меня жир три раза в неделю. Я и правда худею. — Она оглядела Динни. — Интересно, может она нагнать на тебя хоть немножко?

— Я толще, чем выгляжу.

— Я тоже... и это ужасно. Я бы так не огорчилась, если бы твой дядя не был худым как жердь.

Она подставила щеку, и Динни ее звонко чмокнула.

— Как ты хорошо целуешься! — сказала леди Монт. — Сколько лет меня так не целовали. Люди теперь не целуют, они клюют. Пойдем, Полли! — И

она выплыла из комнаты с попугаем на плече.

— Тетя Эм очень хорошо выглядит, — заметила Динни.

— Да. Но у нее мания — боится пополнеть, воюет с этим не на жизнь, а на смерть. Мы питаемся самой необыкновенной пищей. В Липпингхолле дело обстоит лучше, там хозяйка — Августина, а она все такая же француженка, какой была тридцать пять лет назад, когда мы привезли ее из нашего свадебного путешествия. И все так же любит готовить. К счастью, меня ничто не заставит пополнеть.

— Тетя Эм вовсе не полная.

— М-м... нет.

— И у нее прекрасная осанка. Мы так не умеем.

— Осанка исчезла вместе с веком короля Эдуарда, — сказал сэръ Лоренс, — теперь ходят вприпрыжку. Все вы так подпрыгиваете, точно хотите на что-то кинуться и удрать с добычей. Интересно, что будет дальше. Логически рассуждая, вам пора перейти на скок, а может, наоборот, в моду войдет томная поступь.

— Дядя Лоренс, а что за человек лорд Саксенден?

— Один из тех, кто выиграл войну потому, что его никто не слушался. Знаешь, как пишут в мемуарах: «В субботу поехал в Кукерс. Там были

Кэперсы и Гвен Блэндиш. Она была в ударе и объясняла положение на польском фронте. Я-то, конечно, знаю больше. Беседовал с Кэперсом; он думает, что боши при последнем издыхании. Я с ним не согласен; он очень зол на лорда Т. В воскресенье приехал Артур Проз; он считает, что у русских два миллиона винтовок, но нет пуль. Говорит, что война к январю кончится, потрясен нашими потерями. Знал бы он то, что знаю я! Приехала леди Трипп с сыном, — он потерял левую ногу. Милейшая женщина; обещал посетить ее госпиталь и посоветовать, как наладить дело. Воскресный обед прошел очень мило, — все были в ударе, играли в фанты. Потом пришел Алик; говорит, что в последнем наступлении мы потеряли сорок тысяч человек, но французы потеряли больше. Я высказал мнение, что все это очень серьезно. Никто не обратил внимания».

Динни рассмеялась.

— Неужели есть такие люди?

— А ты думаешь, нет! Не люди, а золото; что бы мы без них делали?.. Они выстояли, не дрогнув, вынесли все, не моргнув, проболтали всю войну, не запнувшись... надо было это видеть, чтобы поверить. И каждый считал, что войну выиграл именно он. Особенно отличался Саксенден. Он все время занимал такой важный пост.

— Какой?



— Он был в курсе дела. По его словам, он был в курсе дела больше, чем кто бы то ни было другой. К тому же у него редкое здоровье, это сразу видно, он прекрасный яхтсмен и, кажется, никогда не хворает.

— Интересно будет познакомиться с ним поближе.

— Зазнайка, — вздохнул ее дядя, — один из тех людей, от которых лучше держаться подальше. Ты останешься ночевать или поедешь домой?

— Мне надо сегодня же вернуться. Поезд отходит в восемь с Пэддингтонского вокзала.

— В таком случае я пробежусь с тобой через Хайдпарк, мы закусим на вокзале, и я посажу тебя в поезд.

— Незачем тебе со мной возиться, дядя Лоренс.

— Пустить тебя одну в парк и прозевать такой случай! Нет уж, дудки! Меня же могут арестовать за то, что я прогуливаюсь с молодой особой женского пола. Мы можем даже посидеть на травке и поглядеть, что из этого выйдет. Такие, как ты, и вводят пожилых людей в соблазн. В тебе есть что-то от женщин Боттичелли. Пойдем.

Было семь часов теплого сентябрьского вечера, когда они очутились в Хайд-парке; они прошли под платанами, и под ногами у них зашуршала сухая трава газона.

— Слишком рано, — сказал сэр Лоренс, — учитывая, что на лето передвинули вперед часы. За непристойное поведение наказывают только после восьми. Пожалуй, не стоит даже садиться. А ты могла бы узнать переодетого шпика? В жизни это может пригодиться. Они носят котелок — боятся, что ударят по голове, — в книгах котелок у шпика всегда сваливается, — и стараются изо всех сил выглядеть так, будто они совсем и не шпики; у них решительная складка у рта, — в полиции бесплатно вставляют зубы; глаза шарят по земле, если только они безжалостно не впились в тебя; те, кто чином постарше, крепко стоят на пятках, будто с них снимает мерку портной. Ну, и, конечно, их сразу узнаешь по казенным ботинкам.

Динни звонко расхохоталась.

— Знаешь что, дядя Лоренс, давай сделаем вид, будто я к тебе пристаю. У Пэддингтонских ворот, наверно, торчит какой-нибудь шпик. Я немножко погуляю взад-вперед, а когда ты подойдешь, я к тебе пристану. Но что я должна сказать?

Сэр Лоренс задумчиво нахмурил брови.

— Насколько мне помнится: «Как дела, котик? У тебя свободный вечерок?»

— Тогда я пойду вперед и скажу это под самым носом у шпика.

— Ты его не проведешь.

— Испугался?

— Мои затеи давно уже никто не принимает всерьез. К тому же «Жизнь реальна! Жизнь сурова! Не темница — цель ее».<sup>10</sup>

— Ты падаешь в моих глазах, дядя.

— А вот к этому я привык. Погоди, станешь солидной, почтенной дамой, — сама увидишь, как легко упасть в глазах молодежи.

— Но ты только подумай: нам посвящали бы целые колонки в газетах, и не один, а много дней подряд! «Женщина пристаёт к мужчине у Паддингтонских ворот! Мнимый дядя». Неужели тебе не лестно стать мнимым дядей и затмить все события в Европе? Неужели тебе не хочется подложить свинью полиции? Ты малодушный человек, дядя!

— Soit,<sup>11</sup> — сказал сэр Лоренс. — На сегодня с тебя хватит одного дяди в полиции. Нет, ты еще опаснее, чем я думал.

— Но, без шуток, за что их арестовывают, этих девушек? Ведь это — пережитки прошлого, когда женщину не считали за человека.

---

<sup>10</sup> Из «Псалма жизни» Г. Лонгфелло. (Перев. М. Зенкевича.)

<sup>11</sup> Пусть будет так (франц.).

— Согласен, но в нас еще живет пуританская мораль, да и полицейским надо что-то делать, уволить их нельзя, у нас и так безработица. А если полиция бездельничает, — берегись, кухарки!

— Дядя, не смейся!

— Буду, дорогая! Что бы жизнь нам ни сулила, этого она у нас не отнимет! Но я верю: настанет век, когда мы сможем безнаказанно приставать друг к другу, лишь бы соблюдалась вежливость. Вместо нынешнего жаргона люди буду говорить: «Мадам, пройдемся». — «Сэр, угодно вам мое общество?» Это будет если не золотой, то, во всяком случае, блистательный век. А вот и Пэддингтонские ворота. И у тебя хватило бы духу надуть этого важного полицейского? Давай-ка лучше перейдем на ту сторону.

— Тетя Эм больше не поднимется сегодня с постели, — добавил он, когда они пришли на вокзал, — так что давай-ка я пообедаю с тобой в буфете. Выпьем немножко шампанского, а что до еды, то, насколько я знаю вокзальные буфеты, нам подадут суп из бычачьих хвостов, треску, ростбиф, салат, тушеный картофель и сливовый пирог — пища довольно вкусная, хоть и чересчур английская.

— Дядя Лоренс, — спросила Динни за ростбифом, — что ты думаешь об американцах?

— На этот вопрос, Динни, ни один истинный

патриот не ответит тебе правду, всю правду и только правду. И тем не менее американцев, как и англичан, можно разделить на две группы: бывают американцы и американцы. Иначе говоря, хорошие и плохие.

— А почему нам с ними так трудно?

— Ну, на это ответить просто. Плохие англичане не могут ужиться с ними потому, что те богаче. А хорошим англичанам с ними трудно потому, что американцы чересчур разговорчивы, а самый звук американской речи режет английский слух. Или наоборот. Плохие американцы не могут ужиться с нами потому, что звук английской речи режет им слух. Хорошие американцы не уживаются с нами потому, что мы так молчаливы и высокомерны.

— А тебе не кажется, что они уж слишком хотят все сделать по-своему?

— Мы тоже. Дело не в этом. Нас разделяют привычки и язык.

— Почему?

— Вся хитрость в том, что когда-то у нас был общий язык. Даст бог, их жаргон все меньше будет похож на наш язык, и мы совсем перестанем понимать друг друга.

— Но мы же любим говорить, что нас связывает общий язык.

— А откуда вдруг такой интерес к

американцам?

— В понедельник меня познакомят с профессором Халлорсеном.

— Это тот тип из Боливии? Позволь дать тебе маленький совет: гладь его по шерстке, и он будет тих, как ягненок. Но стоит тебе погладить его против шерсти — и он зарычит, как волк.

— Я буду держать себя в руках.

— Держи левый кулак наготове, но не бросайся в драку очертя голову. А теперь, если ты кончила, пойдем: без пяти восемь.

Он посадил ее в вагон и купил ей вечернюю газету. Когда поезд тронулся, он добавил:

— Взгляни на него, как ты умеешь, Динни. Знаешь, как на картинах Боттичелли. Взгляни непременно!

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Направляясь в понедельник вечером в Челси, Адриан размышлял о судьбе этой части города. Как она изменилась! Он помнил, что еще в конце прошлого века обитатели Челси были немножко похожи на троглодитов— люди боялись вылезать из своего логова; изредка среди них попадался светский лев или историк. Тут обитали поденщицы, художники, не терявшие надежды уплатить за квартиру; писатели, жившие на четыре шиллинга

семь пенсов в день; дамы, готовые раздеться догола за шиллинг в час; супружеские пары, почти созревшие для развода; любители пропустить стаканчик; и тут же — поклонники Тёрнера,<sup>12</sup> Карлейля,<sup>13</sup> Россетти<sup>14</sup> и Уистлера;<sup>15</sup> кабатчики, немало всяких грешников и обычная прослойка мещан. Однако за фасадами домов, выходявших на Темзу и чем дальше, тем больше принимавших величавый вид, постепенно побеждала респектабельность, — и вот она уже идет на приступ закоснелой Кингс-Род, создавая даже там бастионы Искусства и Моды.

Дом Дианы Ферз находился на Окли-стрит. Адриан помнил время, когда он ничем не отличался от других и жили в нем заурядные обыватели; но за шесть лет, которые провела здесь Диана, дом

---

<sup>12</sup> *Тёрнер* , Джозеф (1775–1851) — английский художник-пейзажист.

<sup>13</sup> *Карлейль* , Томас (1795–1881) — английский историк.

<sup>14</sup> *Россетти* , Данте Габриэль (1828–1882) — английский художник и поэт.

<sup>15</sup> *Уистлер* , Джеймс (1834–1903) — американский художник, некоторое время проживавший в Англии.

превратился в прелестный уголок. Хорошенькие сестры Монтджой в свое время пленяли высший свет, но младшая из них — Диана — была красивее, изящнее и остроумнее всех; это была одна из тех женщин, которые без особых затрат и без ущерба для своей добродетели умеют добиться того, чтобы все вокруг них покоряло своей изысканностью и вызывало всеобщую зависть. В обоих ее детях, в собаке колли (чуть ли не последней колли во всем Лондоне), в ее клавикордах, в кровати с пологом, в бристольском хрустале, в обивке мебели, в коврах было столько вкуса, что душа радовалась. Да и сама она радовала глаз своей все еще прекрасной фигурой, ясными и живыми черными глазами, тонким овалом лица, матовой кожей и милой картавостью. Картавость эта была свойственна всем сестрам Монтджой, — они унаследовали ее от матери, уроженки северной Шотландии, — и за тридцать лет они сделали немало, чтобы отучить общество от твяканья, модного в девяностых годах, и привить ему милую манеру проглатывать «р» и «л». Когда Адриан спрашивал себя, почему Диана при ее скромных средствах и сумасшедшем муже была везде принята в обществе, ему приходил на ум двугорбый верблюд. Два горба этого животного похожи на две части Общества (с большой буквы), соединенные мостиком, которым редко кто пользуется после первого знакомства. Семейство



Монтджой, принадлежавшее к очень древнему роду землевладельцев из Дамфришира и связанное в прошлом бесчисленными браками с высшей аристократией, обладало чем-то вроде наследственного местечка на переднем горбу, — позиция не очень выгодная, так как голова верблюда очень ограничивает кругозор; Диану наперебой приглашали в самые знатные дома, где интересовались только охотой, попечительством в больницах, придворными церемониями и вывозом девушек на выданье в свет. Адриан знал, что Диана редко принимала такие приглашения. Она предпочитала второй горб верблюда, — его хвост не закрывал обширного и увлекательного вида на мир. Ну, и странная же компания примостилась на этом втором горбу! Многие, как и сама Диана, перебрались сюда с переднего горба через заветный мостик, другие вскарабкались вверх по хвосту, кое-кто свалился прямо с неба или — как его иногда называли — из Америки. Адриан никогда не претендовал на место здесь, но он хорошо знал, что тому, кто этого добивается, нужно обладать какими-нибудь талантами: либо превосходной памятью, которая позволяет вам безошибочно пересказать все, что вы прочли или услышали, либо природным даром остроумия. Не обладая ни тем, ни другим, вы могли появиться на этом горбу только раз — больше вас туда не пускали. К этому,

конечно, требовалась и некоторая оригинальность, без излишнего, однако, чудачества, и оригинальность эта должна была быть выражена достаточно ярко. Желательно, конечно, чтобы вы пользовались известностью в какой-то области, но это не было условием *sine qua non*.<sup>16</sup> Не мешало иметь хорошее воспитание, лишь бы оно не делало вас скучным. Красота давала вам право на вход, но только если ей сопутствовала живость ума. Не мешали и деньги, но одни они не открывали вам туда доступа. Адриан заметил, что знание искусства, хотя бы с чужих слов, ценилось здесь выше умения создавать произведения искусства; не мешали и деловые способности, если они не превращали вас в сухаря. Кое-кто попадал сюда потому, что свободно вращался в «кулуарах» и повсюду считался своим человеком. Но превыше всего ставилось умение вести беседу. Отсюда, с этого заднего горба, приводились в движение скрытые пружины, но Адриан сомневался, управляют ли они движением верблюда, что бы ни думали те, кто эти пружины нажимал. Он знал, что Диане принадлежит такое прочное место в этом сборище любителей званых обедов, что она могла бы бесплатно кормиться круглый год и не

---

<sup>16</sup> Обязательным (*лат.*).

проводить ни одного воскресенья дома. И, видя, как она постоянно жертвует этим ради того, чтобы провести лишний вечер с ним и с детьми, он был глубоко ей благодарен. Война разразилась сразу после ее свадьбы с Рональдом Ферзом; Шейла и маленький Рональд родились уже после его возвращения с фронта. Теперь Шейле исполнилось семь, а Рональду — шесть лет, и — как всегда усердно подчеркивал Адриан — они были «маленькими Монтджоями до мозга костей». Внешностью и живым характером они, несомненно, пошли в мать. Но — это знал он один — тень на ее лице в минуты задумчивости говорила о том, что ей вообще не следовало их иметь. И он один знал, что постоянное напряжение, в котором она жила с таким неуравновешенным человеком, каким стал Ферз, настолько убило в ней всякую чувственность, что она прожила четыре года своего фактического вдовства без малейшей потребности в любви. Он не сомневался, что она привязана к нему по-настоящему, но понимал, что привязанность эта не перешла в страсть.

Адриан пришел за полчаса до обеда и поднялся в детскую на верхнем этаже. Француженка-гувернантка поила детей на ночь молоком с сухариками; они встретили Адриана с восторгом и потребовали, чтобы он рассказывал дальше сказку, которую начал в прошлый раз.

Француженка, уже умудренная опытом, удалилась. Адриан уселся и, глядя на сияющие детские лица, начал с того места, где остановился.

— Так вот, лодочник был громадный детина, весь коричневый от загара; его выбрали за силу, — ведь берег здесь кишмя кишел белыми единорогами.

— У-у! Дядя Адриан, единорогов не бывает.

— В то время они были, Шейла.

— Куда же они подевались?

— Теперь остался только один, — он живет там, куда белому человеку не добраться из-за мухи «бу-бу».

— А что такое муха «бу-бу»?

— Муха «бу-бу», Рональд, залезает человеку в тело и разводит там мушек.

— Да ну?

— Так вот, когда вы меня перебили, я рассказывал, что берег кишмя кишел единорогами. Лодочника звали Маттагор, и вот как он справлялся с единорогами. Заманив их на берег охалкой кринибобов...

— А что такое кринибобы?

— Они похожи на клубнику, а вкус у них, как у морковки.... Лодочник подкрадывался к ним сзади...

— Если он заманивал их кринибобами, значит, он был впереди; как же он мог

подкрадываться сзади?

— Он нанизывал кринибобы на веревку из древесного волокна и развешивал их в ряд между двумя заколдованными деревьями. Как только единороги принимались щипать кринибобы, он появлялся из кустов босиком, совершенно бесшумно и попарно связывал их хвостами друг с другом.

— Но они же чувствовали, что им связывают хвосты!

— Нет, Шейла, белые единороги хвостами ничего не чувствуют... Потом он опять прятался в кусты, щелкал языком, и единороги бросались бежать куда попало.

— А хвосты у них не отрывались?

— Никогда. В том-то вся и хитрость, — ведь лодочник любил животных.

— Наверно, единороги больше никогда не приходили?

— Вот и не угадал, Рони. Они так любили кринибобы!

— А он ездил на них верхом?

— Да, иногда он вскакивал на спины двух единорогов и уносился в джунгли, стоя одной ногой на спине одного, а другой — на спине другого; да еще посмеивался в кулак. Сами понимаете, что под охраной такого человека лодки были в безопасности. Сезон дождей еще не начался,

сухопутных акул кругом было не так уж много, и экспедиция совсем уже собралась в путь, когда...

— Что — когда, дядя Адриан? Это ведь только мамочка.

— Рассказывайте, Адриан.

Но Адриан молчал; взгляд его был прикован к той, которая к ним приближалась. Потом, с трудом отведя глаза, он посмотрел на Шейлу и продолжал:

— Теперь я должен вам объяснить, почему так важна была луна. Они не могли выступить в поход прежде, чем не увидят, как молодая луна выплывает им навстречу сквозь заколдованные деревья.

— А почему?

— Об этом я и хочу рассказать. В те дни люди, а в особенности племя воттакмолодцов, поклонялись всему, что красиво: такие красивые вещи, как мама, рождественские псалмы или молодые картофелинки очень им нравились. И прежде, чем что-нибудь сделать, они ждали знамения.

— А что такое знамение?

— Вы знаете, что такое воскресенье, — оно бывает в конце, после пятницы и субботы, а знамение бывает в начале, — оно приносит счастье. И знамение обязательно должно быть красивое. А молодая луна до начала сезона дождей была красивее всего на свете; вот они и ждали, чтобы луна вышла им навстречу сквозь заколдованные

деревья, — как мама вышла к нам сейчас из той комнаты!

— Но у луны нет ножек.

— Нет, она плывет. И вот однажды вечером она выплыла к ним, такая прекрасная и стройная — самая красивая на свете, и глаза ее так сияли, что все сразу поняли — экспедиция будет удачной. Они пали перед луной ниц и воскликнули: «Знамение! Не покидай нас, и мы пройдем через пустынные пески и воды, с отражением твоего сияния в глазах и будем счастливы твоим счастьем во веки веков. Аминь!» И с этими словами все они уселись в лодки, — воттакмолодцы с воттакмолодцами, воттакфеи с воттакфеями. А молодая луна осталась там над верхушками заколдованных деревьев, благословляя их ласковым взглядом. Но один человек отстал. Это был старый воттакмолодец, который полюбил луну так сильно, что забыл все на свете, и он пополз к ней, надеясь хоть коснуться ее ног.

— Но ведь у луны нет ног!

— Он-то думал, что есть, — она ему казалась женщиной из серебра и слоновой кости. Вот он полз и полз мимо заколдованных деревьев, но так и не мог ее достать, — ведь это была луна.

Адриан умолк, и наступила тишина. Потом он сказал:

— Продолжение следует, — и вышел из

комнаты.

В холле его нагнала Диана.

— Адриан, вы мне портите детей. Разве вы не знаете, что басни и сказки больше не должны отбивать интерес к технике? После вашего ухода Рональд спросил: «Дядя Адриан и правда верит, что ты луна, мамочка?»

— А вы как ответили?..

— Уклончиво. Но они ужасно хитрые.

— Что ж, спойте мне «Водоноса», пока нет Динни и ее кавалера.

Она пела, а Адриан не сводил с нее восторженных глаз. Голос у нее был хороший, и она отлично спела эту старинную тоскливую песню. Едва умолк последний звук, как горничная доложила:

— Мисс Черрел. Профессор Халлорсен.

Динни вошла с высоко поднятой головой, и Адриан отметил про себя, что взгляд ее не предвещает ничего хорошего. Он видел такие глаза у школьников, когда они собирались дать трепку новичку. За ней вошел Халлорсен, пышущий здоровьем и чересчур высокий для этой маленькой гостиной. Когда его представили Динни, он низко поклонился.

— Ваша дочь, господин хранитель музея?

— Нет, племянница; сестра капитана Хьюберта Черрела.



— Вот как? Считаю за честь с вами познакомиться, мисс Черрел.

Адриан заметил, что, встретившись взглядом, они не сразу смогли отвести друг от друга глаза.

— Как вам нравится гостиница Пьемонт, профессор? — спросил он.

— Готовят отлично, но там слишком много нашего брата, американца.

— Прилетели целой стаей?

— Да. Недельки через две мы снимемся и улетим.

Динни, воплощенную английскую женственность, сразу же взбесил цветущий вид здоровяка Халлорсена, да еще по сравнению с изможденным Хьюбертом. Она села рядом с этим олицетворением мужества с твердым намерением выпустить в его толстую шкуру весь запас своих стрел. Однако он принялся разговаривать с Дианой, и она, еще не кончив есть бульон с черносливом, поглядела на него исподтишка и решила изменить тактику. Все же он — иностранец и гость, а она — девушка воспитанная. И тихая вода берега подмывает, подумала Динни. Она не выпустит своих стрел; напротив, она «очарует его улыбкой и лестью»;<sup>17</sup> это будет куда вежливее по отношению

---

<sup>17</sup> Из стихотворения Льюиса Кэррола (1832–1898), английского детского писателя.

к Диане и дяде Адриану и в конечном счете стратегически выгоднее. С коварством, достойным поставленной цели, она дождалась, пока он не завяз в проблемах английской политики, — по-видимому, он считал политику одной из самых важных сторон человеческой деятельности, — и, кинув на него взгляд, достойный кисти Боттичелли, сказала:

— Нам тоже следовало бы относиться к американской политике серьезнее, профессор. Но ведь нельзя же принимать ее всерьез, не так ли?

— Вероятно, вы правы, мисс Черрел. Все политики руководствуются одним и тем же правилом: придя к власти, не повторяй того, что ты говорил, будучи в оппозиции; в противном случае тебе придется взяться за то, с чем не справились твои предшественники. По-моему, единственная разница между партиями та, что у одних в государственном автобусе места сидячие, а у других — стоячие.

— А в России все, что осталось от других партий, забилось под сиденья.

— Ну, а в Италии? — спросила Диана.

— И в Испании? — добавил Адриан.

Халлорсен заразительно рассмеялся.

— Диктатура не имеет отношения к политике.

---

Это просто шутка.

— Нет, это не шутка, профессор.

— Скверная шутка, профессор.

— В каком смысле шутка, профессор?

— Обман. Диктатор полагает, что человек — это глина в его руках. Стоит раскрыть обман, как его песенка спета.

— Позвольте, — сказала Диана, — но если большинство народа поддерживает диктатуру, — разве тогда это не демократия или не правление с согласия управляемых?

— Я бы сказал — нет, миссис Ферз, если оно, конечно, не подтверждается ежегодными выборами.

— Кое-кто из диктаторов умеет добиваться своего, — сказал Адриан.

— Дорогой ценой. Возьмите Диаса в Мексике. За двадцать лет он превратил ее в цветущий край, но посмотрите, что с ней стало с тех пор, как его нет. Вы никогда не добьетесь того, к чему народ еще не подготовлен.

— Беда нашего и вашего государственного устройства в том, профессор, — сказал Адриан, — что целый ряд реформ, назревших в сознании народа, не осуществляется по одной простой причине: избранные на короткий срок правители на это не решаются, боясь потерять свою мнимую власть.

— Тетя Мэй, — тихонько вставила Динни, — на днях мне сказала: почему бы не избавиться от безработицы, приняв программу перестройки трущоб, и не убить двух зайцев сразу?

— Да ну? Прекрасная мысль! — сказал Халлорсен, обратив к ней свое румяное лицо.

— Денежные магнаты, — сказала Диана, — хозяева трущоб и строительной промышленности, этого не допустят.

— Нужны ведь и деньги, — добавил Адриан.

— Ну, это просто. Ваш парламент может взять на себя необходимые полномочия для такого важного дела; и почему бы ему не выпустить заем? Деньги-то ведь вернутся; это же не военный заем, от которого ничего не остается, кроме порохового дыма. Сколько у вас идет на пособия по безработице?

Никто из присутствующих не мог на это ответить.

— Наверно, то, что вы сэкономите на пособиях, с избытком окупит любой заем.

— Беда в том, что нам не хватает простодушной веры в свои силы, — с невинным видом произнесла Динни. — Тут нам далеко до вас, американцев, профессор Халлорсен.

На лице американца промелькнула мысль: «Ну и ехидна же вы, мадам».

— Что ж, мы, конечно, проявили большое

простодушные, когда пришли сражаться во Францию. Но мы его потеряли. В следующий раз предпочтем посидеть у своего камелька.

— Неужели в тот раз вы были уж так простодушны?

— Боюсь, что да, мисс Черрел. Из ста американцев не найдется и пяти, кто бы считал, что немцы представляют для нас, по ту сторону океана, хоть малейшую опасность.

— Так мне и надо, профессор.

— Что вы! Я совсем не хотел... Но вы подходите к Америке с европейской меркой.

— Вспомните Бельгию, профессор, — сказала Диана, — вначале даже мы были простодушны.

— Простите, мадам, но неужели судьба Бельгии действительно вас так тронула?

Адриан чертил вилкой круги на скатерти; теперь он поднял голову.

— Меня судьба Бельгии тронула. Впрочем, я не думаю, чтобы это имело политическое или иное значение для генералов, адмиралов, крупных дельцов — для большей части власть имущих. Все они знали заранее, что в случае войны мы неизбежно окажемся союзниками Франции. Но на простых людей, вроде меня, и на добрые две трети населения, не ведавшего, что творится за кулисами, — словом, на рабочий класс в целом, — события эти произвели огромное впечатление. Мы

словно увидели, что, как бишь его, «Человек-гора» напал на самого маленького боксера легкого веса, а тот принимает удары и дает сдачи, как настоящий мужчина.

— Вы это здорово объяснили, — сказал Халлорсен.

Динни вспыхнула. Неужели этот человек способен на великодушие? Потом, словно испугавшись, что такая мысль — предательство по отношению к Хьюберту, она колко заметила:

— Я читала, что трагедия Бельгии проняла даже Рузвельта.<sup>18</sup>

— Она многих у нас проняла, мисс Черрел; но Европа от нас далеко, а на воображение действует только то, что случается рядом.

— Ну да; к тому же, как вы сами сказали, в конечном счете вы все же не остались в стороне.

Халлорсен пристально поглядел в ее наивное лицо, поклонился и промолчал.

Но, прощаясь с ней в конце этого не совсем обычного вечера, он заметил:

— Боюсь, что вы на меня сердитесь, мисс Черрел.

Динни улыбнулась и ничего не ответила.

---

<sup>18</sup> Речь идет о Теодоре Рузвельте (1858–1919), президенте США в 1901–1909 годах.

— Все-таки позвольте надеяться, что я вас еще увижу.

— Вот как! А зачем?

— Может, мне удастся изменить ваше мнение обо мне.

— Я очень люблю брата, профессор Халлорсен.

— А я все же думаю, что ваш брат насолил мне больше, чем я ему.

— Надеюсь, будущее подтвердит, что вы правы.

— Это звучит грозно.

Динни только кивнула.

Она поднялась в свою комнату, кусая губы от злости. Ей не удалось ни покорить, ни уязвить противника; и вместо откровенной вражды он вызывал у нее какие-то противоречивые чувства.

Его рост давал ему какое-то обидное преимущество. «Он похож на этих субъектов в штанах с бахромой, из кинофильмов, — думала она, — на ковбоя, который похищает девчонку, а она не очень-то сопротивляется, — он смотрит на тебя так, словно ты уже лежишь у него поперек седла. Первобытная грубая сила во фраке и белой манишке! Сильная, хотя отнюдь и не молчаливая личность!»

Окна ее комнаты выходили на улицу, и ей были видны платаны на набережной, Темза и

широкий простор звездной ночи.

— Не поручусь, что ты уедешь из Англии так скоро, как думаешь, — сказала она вслух.

— Можно войти?

Она повернулась и увидела в дверях Диану.

— Ну, Динни, как вам понравился друг наш — враг наш?

— Герой из ковбойского фильма пополам с великаном, которого убил мальчик-с-пальчик.

— Адриану он понравился.

— Дядя Адриан слишком много общается со скелетами. Когда он видит упитанного человека, он теряет голову.

— Да, это «настоящий мужчина», — говорят, они покоряют женщин с первого взгляда. Но вы вели себя отлично, Динни, хотя вначале глаза у вас метали молнии.

— Но ведь они его не испепелили! И даже не обожгли.

— Ничего! У вас еще все впереди. Адриан попросил леди Монт пригласить его на завтра в Липпингхолл.

— Неужели?!

— Вам остается только поссорить его там с Саксенденом, и дело Хьюберта в шляпе. Адриан нарочно не сказал вам об этом — боялся, что вы себя выдадите. Профессору захотелось отведать английской охоты. Бедняга даже не подозревает,



что попадет в логово львицы. Ваша тетька Эм, наверно, его очарует.

— Халлорсен! — пробормотала Динни. — Наверно, в нем есть скандинавская кровь.

— Он говорит, что мать его из Новой Англии, старинного рода, но вышла за человека пришлого. Его родина — штат Вайоминг. Прелестное название: Вайоминг.

— «Безбрежные просторы прерий»... Почему меня так бесит выражение «настоящий мужчина»?

— Потому что напоминает большой подсолнечник, который вдруг распустился у вас в комнате. Но «настоящие мужчины» водятся не только на «безбрежных просторах прерий»; вы увидите, Саксенден тоже из этой породы.

— Правда?

— Да. Спокойной ночи, дорогая. И пусть ни один «настоящий мужчина», не тревожит ваш сон!

Динни разделась и снова вынула дневник Хьюберта; она перечитала страницу, которую себе отметила.

«Сегодня чувствую себя скверно, — как выжатый лимон. Держусь только мыслью о Кондафорде. Что бы сказал старый Фоксхэм, если бы видел, как я лечу мулов! Средство, которое я придумал для них от поноса, привело бы в ужас кого хочешь, но им оно помогает. Бог был в ударе, когда создавал желудок мула. Ночью мне снилось,

будто я стою дома на опушке рощи и фазаны летят надо мной один за другим, а я, хоть убей, не могу спустить курок, — словно меня сковало параличом. Без конца вспоминаю старого Хэддона и его слова: „А ну-ка, стреляй! Упрись в землю пятками и целься прямо в голову!“ Славный старик! Вот это был человек... Дождь прошел. Сухо — впервые за десять дней. И звезды высыпали.

Море, да остров, да  
лунный рог.  
Звезд немного, но  
зато каких!<sup>19</sup>

Эх, если бы я мог уснуть!..»

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Основные черты всякого старинного английского загородного дома — обособленность и своеобразие каждой его комнаты — отличали и Липпингхолл. Гости расходились по своим спальням так, словно они здесь поселились навсегда; каждый из них попадал в свою особую

---

<sup>19</sup> Из стихотворения английского поэта Элроя Флеккера (1884–1915). (Перев. Б. Слуцкого.)

обстановку и атмосферу. Кроме того, у них появлялось ощущение, что, если им вздумается, они смогут все изменить там по своему вкусу. Дорогая старинная мебель стояла вперемежку со случайными вещами, приобретенными для практических целей или ради комфорта. Потемневшие или пожелтевшие от времени портреты предков висели на стенах против еще более потемневших и пожелтевших пейзажей голландских и французских мастеров, кое-где попадались прекрасные старинные гравюры и совсем неплохие акварели. В двух-трех комнатах еще сохранились великолепные старые каминные решетки, правда, оскверненные удобными каминными решетками, на которых зато можно было посидеть. В темных переходах перед вами неожиданно возникали лестницы. Вы с трудом запоминали дорогу в свою спальню и тут же ее забывали. А в спальне вы могли обнаружить бесценный старинный гардероб орехового дерева и кровать под балдахином удивительной работы, диван в оконной нише с подушками и французские офорты. К спальне примыкала маленькая каморка с узкой кроватью, а ванная могла быть рядом или довольно далеко, зато вы обязательно находили там ароматические кристаллы. Один из Монтов был адмиралом, поэтому в темных закоулках коридоров висели старинные карты с драконами, которые били

хвостом по морям. Другой Монт, дед сэра Лоренса, седьмой баронет, увлекался скачками, — и по картинам на стенах можно было изучать анатомию чистокровных скакунов и жокеев того времени (1860–1883). Шестой баронет, — уйдя в политику, он прожил на свете дольше других, — оставил память о ранней викторианской эпохе — портреты жены и дочерей в кринолинах и себя самого в бакенбардах. Здание было возведено при Карле и достроено при Георгах; кое-где можно было заметить следы викторианской архитектуры, — там, где шестой баронет дал волю своей тяге к прогрессу. Но единственное, что здесь было современным, — это ванны и уборные...

Когда Динни спустилась к завтраку в среду утром — охота была назначена на десять, — в столовой уже сидели или бродили три дамы и все мужчины, кроме Халлорсена. Она опустилась на стул рядом с лордом Саксенденом; тот слегка привстал и поздоровался с ней.

— Доброе утро!

— Динни! — окликнул ее стоявший у буфета Майкл. — Тебе кофе, какао или имбирное пиво?

— Кофе и копченую рыбу.

— Копченой рыбы нет.

Лорд Саксенден поднял голову.

— Нет копченой рыбы? — пробормотал он и снова принялся за колбасу.

— Может, хочешь трески? — спросил Майкл.

— Нет, спасибо.

— А что дать тебе, тетя Уилмет?

— Плов.

— Плова тоже нет. Есть почки, бекон, яичница, треска, ветчина, холодный пирог с дичью.

Лорд Саксенден поднялся.

— А! Ветчина, — сказал он и пошел к буфету.

— Чего же тебе положить, Динни?

— Немного джема, Майкл.

— Есть крыжовник, клубника, черная смородина, апельсиновый.

— Крыжовник.

Лорд Саксенден вернулся на свое место с тарелкой ветчины и, жуя, стал читать письмо. Динни не могла как следует разглядеть его лицо — глаза у него были опущены, а рот набит до отказа. Но она, кажется, поняла, почему ему дали кличку «Зазнайка». У него было красное лицо; светлые усы и волосы начали седеть; за столом он сидел очень прямо. Вдруг он повернулся к ней и сказал:

— Простите, что я читаю. Это от жены.

Понимаете, она у меня прикована к постели.

— Какая жалость...

— Ужасно! Бедняжка!

Он сунул письмо в карман, набил рот ветчиной и взглянул на Динни. Глаза у него оказались голубые, а брови — темнее волос —

были похожи на связки рыболовных крючков. Глаза были немного навывкате — точно говорили: «Ай да я! Ай да я!» Но тут она заметила вошедшего Халлорсена. Он нерешительно остановился в дверях, потом, увидев ее, подошел к свободному месту с ней рядом.

— Можно мне сесть тут, мисс Черрел? — спросил он с поклоном.

— Конечно; если хотите завтракать, еда стоит вон там.

— Кто это такой? — спросил лорд Саксенден, когда Халлорсен отправился за пропитанием. — Явный американец.

— Профессор Халлорсен.

— Да? А! Написал книгу о Боливии. Так?

— Да.

— Красивый парень.

— Настоящий мужчина.

Лорд Саксенден посмотрел на нее с удивлением.

— Попробуйте ветчины. Кажется, я знал в Харроу вашего дядю.

— Дядю Хилери? Да, он мне говорил.

— Как-то раз он держал со мной пари на три стакана земляничного сиропа против двух, что первый сбежит по ступенькам до спортивного зала.

— Вы выиграли?

— Нет, но так и не заплатил свой проигрыш.

— Как же так?

— Он растянул ногу, а я вывихнул колено. Он доскакал на одной ноге, а я так и остался лежать. Мы провалялись до конца триместра, а потом я ушел из Харроу. — Лорд Саксенден фыркнул. — Так что я все еще должен ему три стакана земляничного сиропа.

— Я думал, это мы, в Америке, любим плотно позавтракать, — сказал, усаживаясь, Халлорсен, — но где уж нам тягаться с вами.

— Вы знакомы с лордом Саксенденом?

— Лорд Саксенден... — с поклоном повторил Халлорсен.

— Здравствуйте. У вас в Америке ведь нет таких куропаток, как наши?

— Кажется, нет. С удовольствием их постреляю. Первоклассный кофе, мисс Черрел.

— Да, — сказала Динни, — тетя Эм гордится своим кофе.

Лорд Саксенден выпрямился еще больше.

— Попробуйте ветчину. Я не читал вашей книги.

— Разрешите вам ее прислать; буду польщен, если вы ее прочтете.

Лорд Саксенден продолжал жевать.

— Да, вам стоит прочесть эту книгу, лорд Саксенден, — сказала Динни, — а я пришлю вам другую на ту же тему.

Лорд Саксенден пристально на нее поглядел.

— Вы оба очень любезны, — сказал он. — Это клубничный джем? — и протянул к нему руку.

— Мисс Черрел, — вполголоса сказал Халлорсен, — мне бы хотелось, чтобы вы просмотрели мою книгу и отметили те места, где я, по-вашему, несправедлив. Я писал эту книгу, когда все во мне еще кипело.

— Не пойму, какая сейчас от этого польза.

— Если хотите, я выброшу эти места из второго издания.

— Как это мило с вашей стороны, — ледяным тоном произнесла Динни, — но сделанного не воротишь.

Халлорсен понизил голос еще больше:

— Я просто в отчаянии, что вас огорчил.

Динни словно обдало волной самых противоречивых чувств — досады, торжества, холодной мстительности, иронии.

— Вы огорчили не меня, а моего брата.

— Это можно исправить, если взяться за дело всем вместе.

— Не знаю.

Динни поднялась.

Халлорсен тоже встал и поклонился, когда она шла к двери. «Ну до чего же вежлив», — подумала Динни.

Все утро она провела в укромном уголке



парка, скрытом со всех сторон живой изгородью из тисовых деревьев, за чтением дневника Хьюберта. Солнце пригревало вовсю, а жужжание пчел над цинниями, пентстемонами, мальвами, астрами и сентябрьскими маргаритками навевало покой. В этом мирном убежище она снова почувствовала, как ей не хочется выставлять напоказ душевные переживания Хьюберта. В дневнике не было нытья или жалоб, но Хьюберт писал о физических и моральных муках с откровенностью, не рассчитанной на посторонних. Изредка сюда доносились звуки выстрелов; облокотившись на изгородь, Динни посмотрела в поле.

Чей-то голос произнес:

— Вот ты где!

За изгородью стояла тетя Эм с двумя садовниками; широкие поля ее соломенной шляпы свисали до самых плеч.

— Я сейчас обойду изгородь, Динни. Босуэл и Джонсон, можете идти. Мы займемся портулаком после обеда. — Она посмотрела на Динни из-под полей своей шляпы. — Это с Майорки, — так хорошо защищает.

— Но почему Босуэл и Джонсон,<sup>20</sup> тетя?

---

<sup>20</sup> *Джонсон*, Самюэль (1709–1784) — английский писатель; *Босуэл*, Джеймс (1740–1795) его биограф.

— Босуэл у нас давно; дядя долго искал, пока не нашел Джонсона. Теперь он заставляет их ходить только вместе. А ты тоже поклонница доктора Джонсона, Динни?

— По-моему, он слишком часто употреблял слово «сэр».

— Флер взяла мои садовые ножницы. А это что у тебя?

— Дневник Хьюберта.

— Грустно?

— Да.

— Я приглядывалась к профессору Халлорсену, — за него надо взяться.

— Начни с его нахальства, тетя Эм.

— Надеюсь, они подстрелят хоть несколько зайцев, — сказала леди Монт, — всегда хорошо иметь про запас заячий суп. Уилмет и Генриетта Бентуорт уже поспорили.

— О чем?

— Понятия не имею, — не то насчет парламента, не то насчет портулака; они только и знают, что спорят. Генриетта столько времени провела при дворе!

— А это плохо?

— Она славная женщина. Я люблю Ген, но она так кудахчет. Что ты будешь делать с этим дневником?

— Покажу Майклу и спрошу его совета.

— Никогда не слушай его советов, — сказала леди Монт, — он славный мальчик, но ты его не слушай; у него странные знакомства — издатели и тому подобное.

— Потому-то мне и нужен его совет.

— Спроси Флер, она умница. У вас есть такие циннии в Кондафорде? Знаешь, мне кажется, что Адриан скоро свихнется.

— Тетя Эм!

— Он такой рассеянный; и от него остались кожа да кости. Конечно, мне не следует этого говорить, но, по-моему, пусть берет ее поскорее.

— Я тоже так думаю, тетя.

— А он не хочет.

— Может, не хочет она?

— Оба они не хотят; вот я и не знаю, как тут быть. Ей же сорок.

— А сколько дяде Адриану?

— Он у нас самый маленький, если не считать Лайонела. Мне пятьдесят девять, — решительно заявила леди Монт. — Я-то помню, что мне пятьдесят девять, а твоему отцу шестьдесят! Твоя бабушка, верно, очень тогда торопилась, рожала нас одного за другим. А как ты смотришь на то, чтобы рожать детей?

Динни спрятала смешинку в глазах.

— Что же, для женатых, пожалуй, неплохо — в меру, конечно.

— Флер ожидает второго в марте; скверный месяц... так неосторожно! А когда ты собираешься замуж?

— Когда отдам кому-нибудь свое юное сердце, — никак не раньше.

— Вот это разумно. Только не за американца. Динни едва не вспыхнула, но улыбнулась.

— Зачем, скажи на милость, мне выходить за американца?

— Ничего нельзя знать заранее, — сказала леди Монт, срывая увядшую астру, — все зависит от того, кто тебе подвернется. Когда я выходила замуж за Лоренса, он мне все время подвертывался.

— И сейчас все еще подвертывается, да?

— Не язви.

Леди Монт замечталась, и шляпа ее как будто стала от этого еще больше.

— Кстати о браках, тетя Эм, — мне хочется найти невесту Хьюберту. Ему нужно рассеяться.

— Твой дядя, — заметила леди Монт, — наверно, скажет: чтобы рассеяться, нужна балерина.

— Может, у дяди Хилери есть балерина, которую он может порекомендовать?

— Не дерзи, Динни. Я всегда говорю, что ты ужасно дерзкая. Но дай-ка подумать: *была* одна девушка... нет, она вышла замуж. Может, она уже развелась?

— Нет. Как будто собирается, но это еще не